МАРИЯ ИОФФЕ

ОДНА НОЧЬ

Повесть о правде

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХРОНИКА"
Нью Йорк, 1978

МАРИЯ ИОФФЕ

ОДНА НОЧЬ

Повесть о правде

Все может статься с человеком.

(Гоголь)

Захотят – превратят человека
В совершенно другого
... Тот, кого так переделать сумели,
Будет пригоден для всякой цели.

(Брехт)

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХРОНИКА"
Нью Йорк, 1978

Автор ограничился выбором фактов и событий 1) в которые сам непосредственно был вовлечен, 2) происходивших в его окружении. Все истинно, все было.

MARIA IOFFE

ONE NIGHT

Copyright © 1978 by: KHRONIKA PRESS

Published by: KHRONIKA PRESS
505 8th Ave., New York, N. Y. 10018

Manufactured in the United States of America

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВОЛИ (ВОЛОДИ)
моего юного сына
"изъятого" и сгинувшего
в тридцать седьмом

I

... Длинная, низкая, захламленная и холодная барак-палатка. Ординарная – в Заполярье... По концам ее железные печки. В светлом кругу над каждой поблескивает иней (наше холщевое "небо в алмазах"!). Фитилек в ржавой банке с керосином – освещение на полбарака. Вдоль стен едва различимые в полутьме двухъярусные нары-вагонки. Пары валенок сушатся ближе к печуркам. На протянутых по длине палатки веревках болтаются задевающие за лица протухшие портянки оскорбительных оттенков – чему только они не служат... В проходах бродят неприкаянные тени голодных существ. – И надо всем – изощренный гнусной фантазией мат, срамные песни, грохот чечетки – это падшие до дна заполярных лагерей проститутки и воровки, вместе с комендантами и нарядчиками из той же среды, правят еженощный шабаш. Пока пары не улягутся...

Иррационально, гротескно, химерично, все вместе – грохот-гул, грязь всех родов, голод, смрад создают дух лагеря – дух безвыходной, беспросветной неволи.

В 5 часов звяк железной палки о висячий рельс. Резко, назойливо он проникает во все поры, целиком заполняет тебя. Первое инстинктивное движение – голову в подушку: не видеть того, с чем сейчас встретишься. Но подъем есть подъем. Выбивай дрожь зубами от холода да скорей вскакивай. Блатные уже хозяйничают.

В темноте – на щелястом длинном столе один дохлый фитилек – возня у сваленных в кучу на полу частей одежды из починочной. Прохудившийся валенок сброшен с печки, валяется в луже под рукомойником. Сухие теплые портянки украдены из-под носа. Поскорей вытаскивай изношенные трусы, драные штаны – драгоценность. Рви пополам, накручивай на ноги со сноровкой, чтоб в утлую обувку не забрался снег.

Толкотня возле огромной полузамерзшей бочки с водой и перед осклизлым рукомойником. Завтрак тут же (кухню работяги построили, столовую еще нет). Полба и кипяток с утренней паечкой. Напялив на себя предварительно все наличное приданое, женщины влезают в истонченные, свалявшиеся ватники. Готовы.

Десять-пятнадцать минут до развода – единственное время, когда мозг сколько-нибудь способен к отвлеченному от жалкой и трудной действительности мышлению.

Силюсь выхватить из памяти что-то праздничное, отдохновенное. Третьяковка. Зал передвижников. Слева – "Владимирка". Тогда все понималось, называлось прямо и точно: вот – враги, против них те, что связаны

братством по борьбе и цели. Ухабы и колдобины Владимирки – часть их высокой борьбы, которую продолжают братья на воле. Плененный не теряет связи с ними, своим надежным тылом.

У лагерника н е т т ы л а.

Колючую зону окружает еще другая ограда – сплошной высокий тын, частокол из рук, поднятых за объявление тебя, все новых и новых жертв врагами народа. За лагеря для них. Голосуют агрессивно, вытягивая руку повыше, позаметней. Голосуют миллионы. Все – против нас. Мы с силой отброшены на берег с наглухо замурованными гаванями. На другой берег.

Спустив ноги, с высоты верхних нар гляжу на однотонное бестолковое копошение. Свалка столиц и областей. Очень уж их много, и все одинаковые, не женщины, а таблица умножения...

Между бараками во тьме ночи начался развод. "Летучие мыши" в руках нарядчиков и комендантов – блуждающие огни в болоте – только усугубляют мрак. Остановится красная точка, и оттуда из темноты тотчас доносятся звуки грубого, приказного крика. Темные людские ряды отталкивают руками, как мешки с соломой, считая-пересчитывая. Снег – застывшая зола. Небо – смоляная шуга в ледяном океане.

Боже, отведи руку, пожелавшую возжечь прожектор, осветить ад и его, мытаря, на показ кому придется и самому себе. Легче ли, если вдруг выплывут холодно-злые лица всяких начальников и колонны понурых бушлатов, бесконечные, как на сплаве, во всю реку до горизонта черные бревна. Если сразу откроется все, до карцера с развалившейся трубой, до косо торчащих черных коробок отхожих мест с полуоторванными дверями и полузанесенными кучками вокруг них...

Пошли. Не отвлекайся, бди, потому что "шаг вправо, шаг влево – стреляю без предупреждения" (это не только слова). Мороз к вечеру подвалит под сорок.

Никогда раньше я не видывала такого безмолвного равнодушного леса. Онемел, сдавленный полярной зимой. Стена его начинается почти у самых глаз. Ели – объект работы, только.

Двое из звена под корень перепиливают дерево. Я, третья, беру на топор молодняк и отрубаю напрочь, дочиста все ветви, все сучья сваленной ели.

Полученный голый хлыст те же двое пильщиков точно, по мерке разделывают на балланы. Четвертая в звене собирает "сучки в кучки" и сжигает их на кострах. Кострожег из слабосилки работает повременно. Остальные трое за рабочий день должны дать двенадцать кубометров деловой древесины. Если выполнишь меньше 20-ти процентов, – ты отказчик, ступай в кандей.

Оставшиеся пни – второе звено корчует. Расчистят от слежавшегося снега, подкопают, подрубят, чтоб было, за что привязать веревки. Потом, обмотав их крест-накрест вокруг себя, тянут – раз-два, взяли! – (Ох, как нелегко это "взяли"!) – Вся площадь должна быть расчищена вгладь, здесь будет лагерь заложен. Еще один.

К концу дня у всех ломит плечи, руки немеют, топора не удержать. Продукцию тружениц на делянке, г о д о в у ю, пара электропил и одна корчевальная машина выпустили бы меньше, чем за неделю.

Обратный путь. Снова идти верст пять. Чаща сдерживает напор ветра, движение, спешка как-то разогревают. Но когда бригаду выводят на широкую просеку, – волком вонзает мороз зубы в измученные, беззащитные тела. – Легкие выдыхают колючий иней. Холодно, х о л о д н о невыносимо, мы вместе с конвоем почти бежим, да ведь нет сил, они остались в лесу, у свежих замерзающих бревен...

Бригада перед нами – у костров, мы бросаемся к огню, нас сейчас не остановят никакие выстрелы...

Святые отцы, вот так и зарабатывается вечное блаженство? Тогда у нас по крайней мере – чистилище. Господи, глянь на этих гурий...

Вымотанные, грязные, оборванные, лица огрублены полярными лучами и ветром. Глаза мутные, как наждаком натертые, от слепящей белизны, от голода. Носы шелушатся, на щеках темные пятна, следы ожогов морозом. В последней отчаянной попытке защититься от стужи на голову, на шею накручено заиндевевшее тряпье, лохмотья торчат из обуви. Бредем до ОЛПа, сгорбленные, с остановившимся взором, косматые, какие-то нереальные – кикиморы, вылезшие из лесов времен, из темных глубин прошлого...

Наша бригада в основном интеллигентская. Кто разберет среди этих страшил арфисток и скрипачек, научных работников, агитпропщиц, педагогов? Большинство прошло "обработку". Побои оглушили. От сыпавшихся ударов щепками разлетались достоинство, чувство своей человеческой значимости. Осознать случившееся – страшно. Внутренне согласиться – невозможно. Так и пребываем в состоянии околдованности, оглушенности.

Самое трудное – многолудовые балланы отнести и уложить в штабеля. При отсутствии опыта и хотя бы самого примитивного инструктажа в лесу неминуемы аварии, часто с тяжелыми последствиями. Так не повезло мне: ель-великан, сваленная соседним звеном, не знавшим, что пилить надо всем с одной стороны, – упала, придавила своим весом мою правую ступню.

(... Кроме опасности остаться уродом, тогда ничего другого и в голову не могло прийти. А между тем, это событие отразилось на всей моей лагерно-тюремной судьбе. Вероятно – и на самом факте жизни: при отправке этапов – ведших ряды заключенных подчас к трагическим развязкам – вывод комиссии врачей (более осведомленных и часто пытавшихся по мере сил и кого удастся, спасти) был неизменным: зэка такая-то ввиду тяжелой производственной травмы ноги следовать – не может.)

I I

Рай – больница, для обитателей ее – оазис в пустыне бесчеловечности и горя.

Как тут чудесно!

Койка у окна. Отдельная. Чистая. Можно потянуться на тюфяке из из стружки (а не сбившихся в камни опилок).

Ни завтра, ни еще сколько-то недель не идти в лес!

Нога в гипсе не болит. Благостное тепло.

И главное: люди. Мыслящие, полные лучистой доброты – настоящие.

Хорошо! Я – счастлива.

Вообще-то говоря, обретенный р а й – больше смахивает на захудалую ночлежку: удачливо попавших на отдельную койку всего несколько человек. Остальные – к вящей заботе доктора – размещены по нарам, но и они почитают себя счастливцами: больница! Ни в лес, ни в каменоломни – это надо понимать! А болезнь наш доктор вылечит.

... Вокруг построенных осенью складов то концом, то ребром выпирают из-под снега доски. Брать их строго воспрещается, нельзя тратить пиломатериалы не по назначению. (Все равно гниют? И как подтает, их неминуемо затопчут? – Не ваше собачье дело.)

Эти доски и составляли сырьевую базу для негласной столярной мастерской, организованной доктором в просторном чулане за кухней. Идея добычи сырья для коек и начало ее реализации принадлежат Вилке. У него дееспособна одна рука, другая покоится на широкой перевязи.

В "экспедицию" не все шли одинаково охотно. Молодой геолог Елизаветский, высокий, по-девичьи краснеющий, решительно запротестовал. Нарушая мое эйфорическое, блаженное состояние, из-за тонкой переборки доносится до меня диалог:

– Я в тюрьму не просился. Арестовали, привезли – пусть кормят, искалечили – пусть чинят. Чтоб я добровольно лагеря отстраивал?!

– Чудило, это ж не коменданту уют ладить. Для своего же брата.

– Ты не понимаешь, что такое находиться в точке, где полновластные хозяева – урки. Там, где мне отбывать все, какие положат,сроки, урки составляют более трети населения. Ты не можешь их знать, потому что не был брошен на съедение, изведен ими, как мы.

Первое, что в них поражает, – какая-то животная бесстыдность. Вся грязь, наружная и внутренняя, с бахвальством и тупым смехом выворачивается напоказ. Входишь или выходишь из палатки, – ноги поставить негде: отхожих мест не признают, мужчины, женщины, заголясь у всех на виду, прямо у порога – кого стесняться? И не только нет ни капли стыда, но даже в отношениях друг к другу не заметишь проблеска жалости, сочувствия. Жрет, гадит, живет только тело. – И вот таких перед самым нашим приездом скликало начальство на собрание: к нам едет 58-я, среди них самые злые враги – КРТД. Вы должны не давать им вредить, не допускать готовить каверзы. Помогите нам, советские люди, в борьбе с контрой.

Помогают. Рубашку рвут из рук, кусок не дают "контрикам" до рта донести. Редкие наши посылки сразу ими отбираются. Работать почти совсем бросили; бригадиры, тоже из блатных, нормы проставляют им за счет 58-ой, подыхающей с голодухи, надрывающей спины и животы в каменоломнях.

– Но все же начальство реагирует как-то на такое?

– Начальники боятся их. Урки стали с ножами ходить, как в кладовку, к трупам умерших, тогда вынесли за зону покойницкую. У конюшен молодняка поставили вооруженный конвой, чтобы охранять жеребят от жеребячьих нравов диких орд.

– Выходит, по-твоему, порядок, когда на земле обетованной рядом с другими больными валяются по нарам и твои урки-сифилитики?

– На все лагерные годы даровано мне судьбой месяц-полтора "дома отдыха" у нашего доктора. Иди к черту, не порть моих каникул.

Среди такого лежать бесполезной колодой... Я, мне, мои... Какой там на фиг Елизаветский, ты так – еле-еле советский, – протянул Вилка и стащил с геолога одеяло. Прибавил еще кое-какие слова.

Я легко узнавала старую специальность Витьки Вильковича – "открывать" людей и тут же втягивать их в кипучую деятельность. Мы с Вилкой учились в параллельных классах гимназий, жили почти рядом. Наши отцы были приятелями и я с Вилкой и сестрой его – тоже.

Доктор демонстрировал перед комиссией из центра протекающий шприц с двумя тупыми иголками (весь запас) и единственный градусник. Когда комиссия покинула больницу, доктор, махнув им вслед рукой, написал жене на волю: продай то-то, срочно шли по списку.

Понемногу я начала ходить, на костылях. Вспомнила фронтовую практику. Лекпом работал днем, вечером я его подменяла.

Доктор дождался наконец : поступило почтой кое-что из медицинского инструмента. Но "колющее, режущее" заключенным не полагается, посылку задержали. Доктор обратился с официальной просьбой: все присланное принять в лагерную собственность, числить на инвентаре больницы. Ответ : "нет на то инструкции".

– Сам повезу больного на операцию. Авось, на Воркуте главврач поможет добиться передачи инструмента лагерю...

Повез доктор больного. И списки неотложно необходимого больнице.

Все сроки прошли, а его с Воркуты все нет и нет.

Вернулся коричнево-обветренный, глаза смотрели устало и беспокойно.

... задержался, потому что его, еще врача с Воркуты, вольного инженера и начальника ВОХР*, посылали осмотреть бараки заброшенного кирпичного завода – можно ли разместить там заключенных.

– Километров двадцать пять шли первозданным пространством. Небо никакое, будто его и вовсе нет, одна муть. А внизу промерзшая тундра.

---

* ВОХР – вооруженная охрана лагеря.

белая до синевы, бесконечная до одури – и ничего, ничего кругом, абсолютно голая, зеркально-лысая беспредельность.

Шагали, шагали и натолкнулись на занесенные снегом развалины – цель нашего путешествия – остатки кирпичного завода. Он был сотворен "на живую нитку", по-лагерному.

Вохровец рассказал: когда завод работал, тут "стоял вроде ОЛП". Были и палатки, но больше по землянкам расселяли зэков. Крутили они глиномялки, лепили кирпичи. Когда глина иссякла, вскоре закрыли завод: собрали палатки, увезли их вместе с глиномялками, а с остальным – морозы да метели расправились. Вот только деревянный карцер еще не рухнул... Поиски глины продолжены, кирпич нужен. Уж сейчас бригады начали крепкую тюрьму, с цементным полом, на Воркуте спехом строить...

Карцер весь расползся, по разошедшимся углам и вдоль стен – толстый грязный лед. – Удивил он нас своей величиной, да еще отсутствием малейшего намека на топку – даже дыры в крыше нет...

Доктор говорил тоскливо, слова лились медленно, прерывисто.

Совсем завял наш доктор. – Что за притча, ну, мало ли на свете развалин? Попыталась разрядить нависшее уныние шуткой:

– Успокойтесь, доктор, этапы все прибывают да прибывают, слепят тяп-ляп новые бараки, они тоже скоро развалятся – ну,чего так убиваться?

Доктор не улыбнулся.

– Все забито снегом. Все обезжизнено. Даже волков нет, слишком холодно, волком ветер воет. Пала ночь, мрак, застонала метель...

– Поселить сюда людей! А вохровец заявил – подходит: полная изоляция.

Что он говорит? Полная изоляция? – Да чего уж полней!...

Этапы ходят по реке, по льду. Через каждые двадцать пять-тридцать километров поставлен перевалочный "станок". В пути доктор вскрыл нарыв на бедре перевалочнику Пухову, старому знакомому. И тот шепотом рассказал – недавно проехали трое "сурьезных" уполномоченных. Ночью здорово пили, но выехали рано. – "На кирпичный!" – скомандовал старший.

Пухов поведал, как он зовется.

... Есть на свете места, что прокляты и святы. Среди них – Кирпичный. И есть проклятые имена. Среди них

... только что названное, ставшее синонимом того, что выражено словом односложным, абсолютным и окончательным...

После переломов пострадавшим нужна рентгеноскопия. Доктор узнал – возчик Михайло завтра с утра едет на Воркуту. Отличная оказия, но возчик заартачился.

Михайло – пахан, атаман всех урок ОЛПа, воров и бандитов обоего пола. Власть его над ними безгранична. Он чинит суд и расправу: отойдет

с подсудимым за барак, наденет жилет ("правилка") и "качает права". Проигравшего в карты "отдает" кредитору, тот превращает "заигранного" в раба. А если что посерьезнее, – прощайся с жизнью, пахан назначает палача.

– Обратно повезет лошадь кладь, а туда – вроде отдыха скотине.

– Сам ты скотина, изнутри и снаружи.

Михайло и верно – скотоподобен: низколоб, скуласт, губаст, с длинными обезьяньими руками нечеловеческой силы. Доктор, ругаясь, отрезал от твердой колбасины, налил в мензурку драгоценного спиритус ректификати, Михайло уважительно вытер губы: "Завтра – поехали!"

Обрадовалась было я: в столицу! Потом вспомнила и помрачнела – валенки мои... В таких и с подвозом Михайлы не дойдешь, а подшивать тут нечем. Но оказалось, нашлись на ОЛПе две пожилые женщины, умеющие прясть. Из разлохмаченных ненужных обрывков манильского каната в низком предбаннике при коптилке они прядут веревки, нашивают их тесными овалами на стельку из ветоши. Вот и подшивка, сдавай норму на склад.

К колбасе и сахару доктор добавил свою пайку. – "Ведь больную, Ваи".

Они глянули на вошедших молча, недобро. – Ведьмы, парки, как раз по месту, во тьме прядут нити злой судьбы...

Положила у коптилки хлеб, сахар, колбасу. Ван принес кипяток.

За кипяточком парки оттаяли в простых баб. Выспросили у меня – как получилось, кто дома остался. Ну, а потом и я их, в свой черед, не могла взять в толк – этих-то как угораздило со страшной статьей КРТД – "контрреволюционная троцкистская деятельность" – сюда затесаться?

Грузная, с неподвижным лицом, платок повойником, рассказывала нудно, плаксиво и бестолково, как вдруг я уловила некий смысл:

– Он-то мне все – позиция, позиция, а я ему – следователю-то, муж мой – ну, да был на позициях, так он мужик на то, а я ж баба, какие позиции, чего ты ко мне, в самом деле. А он как затопочет на меня, не валяй ваньку, говорит, твой муж в позиции, он трактист. А я ему – не, он сапожник, спьяну дерется, невесть что несет, одежки таскает – пропивает... Она заплакала. – Внученька-сиротинка осталась...

У второй, невидной бабенки, глаза вытаращенные, без всякого выражения, зато нос походил на болтливый сорочий клюв. Она скороговорила:

– Вот идуть, да идуть, уж сколь ден, вагоны все полные, на площадках солдаты с ружьями, а те-то, внутре, в своей одежке, а выходять все военные. Наша станция узловая, все составы тогда шли, ох! и дюже длинные да набитые. Солдаты с ружьями на путя выходять. Стою вот так, со свернутым, вышла состав встренуть, тронула древком одного военного, спрашиваю: – "Война, ай что? Нибилизация? Как в четырнадцатом, подн?" А он повел меня до другого, и тот повел, а я иду и все свернутый наперед себя держу. Милая ты моя, так своей сторожки и не видывала боле...

... Вот как можно попасть в лагерь...

На лед спустились засветло. Более слабых поддерживали те, что покрепче. Доктор вел меня с моей палкой, он шел навестить Пухова.

Рентгеновские снимки оказались относительно благополучными. Рентгенолог сказал: вам повезло с врачом. – Еще бы, наш доктор!

... Он ходил взад-вперед по берегу. Ждал, пока перевальщики закончат утренние дела с водой, дровами, топкой.

... Почему именно с развалин кирпичного, без осмотра печей, без сырья – начинают приезжие? – Пухов (бывший шофер НКВД) об этих соображал так:

– Видать, за пьянку, а то где-нибудь по своему делу недобрали. Будут теперь на холодке налегать – стараться. Замо-о-лят, им – что?

... Тогда, в ярости старания, могут и не отвести кирпичного...

Не отвели.

Протянули пару двухъярусных холодных палаток. По лагерному штрафному обычаю-норме воздуха и доски нар на одно заключенное, да еще и штрафное, тело тут смогут "уплотнить" сотни...

Карцер приспособили для женщин. Окна наглухо забили досками. Поставили железные бочки с трубами и дверками.

Пошло по всем лагпунктам изъятие заключенных.

Кирпичный сейчас – одинокая глухая тюрьма-призрак среди стеклянной пустоты, мороза и белых метелей тундры.

Туда все гонят и гонят арестованных... Еда – один раз в сутки.

Ничего больше Пухов не знал. Потому что весь кирпичный оцеплен, день и ночь остараживается штыками прибывших солдат. Проезд мимо него отведен далеко в тундру... "Им – что?"

Доктор возвращался, не замечая дороги.

III

Глеба с Вилкой выписали. Через пару дней Елизаветский, сияя, прибежал в больницу. Две счастливейшие новости: оставлен здесь на ОЛПе и вдобавок получил пропуск за зону для геологических поисков в нерабочее время.

Приятели определены, оба в мехмастерскую. Глеб смастерил себе лопатку и топорик. Заходя в больницу, оживленно рассказывал мне о своих походах: "Понимаете, как здорово: нас обрекли на бесплодие, а тут взять, да и обнаружить, открыть полезное и важное, до признаков уж доискался"... Наверное, еще кому-то рассказал, потому что вызвал его к себе начальник.

– Выкладывайте, какие у вас находки?

– Никаких. Зима – не поисковое время. Правда, прошла полоса оттепелей, но обнаружились только очень малые приметы. В одном месте вероятна девонская нефть, но следует разведать – в промышленных ли количествах. На обрыве – следы полициподов, дающие повод думать об угле.

– Чего такое? Какая нефть? Напиши-ка эти слова.

Остальное он допишет сам. Это не шутка – ходить в зачинателях: "я послал моего геолога"... или "выискал с другого ОЛПа специалиста, наказал ему..." А впрочем, хрен его знает, может, – чепуха, будут гоготать. Или похуже...

Шли дни. Но вторым планом во всех жило – тюрьма среди тундры. Нарочитой отдаленностью, пренебрежением, даже по лагерным мерилам, к бытовой устроенности, невиданной охраной – она внушала особое беспокойство. Молчаливая тревога нарастала.

Ночью ушел на Воркуту большой мужской этап. За полчаса доктор узнал, что Ван тоже в списке. Госпитализация – "следовать не может".

Доктор проводил, попрощался с друзьями. Обнялись с Вилкой, он просил передать мне прощальный привет – заветный томик Лермонтова.

У доктора проездом побывал его друг – врач из сангородка.

После неоднократных и настоятельных просьб доктор рассказал нам о знаменитой воркутской голодовке.

Голодали КРТД (кроме принципиальных противников голодовки) и присоединившиеся к ним, всего 400 человек. Требования: 1) отделить от уголовников, 2) соединить из разных ОЛПов семьи, 3) работа по специальности, 4) возможность получать с воли книги и периодику, 5) улучшение питания и жилищных условий.

Старостат голодовки: Григорий Яковин, Сократ Геворкьян (молодые профессора), Васо Донадзе (член ЦК Грузии), Саша Милешин (московский студент). Все – из левой оппозиции (троцкисты).

Делалось все, чтобы сломить сопротивление, вплоть до прекращения топки печей при температуре минус 40 - 50 °.

Голодовка продолжалась три месяца – какие духовные силы, гордое человеческое упорство проявили себя!

Их перевели в сангородок и прибегли к насильственному искусственному питанию. Голодающие – держались. Официально жертв в сангородке не было. В действительности – безнадежных выписывали из больницы, и они умирали на ОЛПе.

У всех силы падали.

Но – не сдавались.

И вот через три месяца неожиданно все требования были удовлетворены. Под наблюдением врачей выжившее большинство усиленно подкармливали, довели до возможности обычного лагерного полуголода.

Доктор подавленно замолчал. И на вопросительные взгляды ответил:

– Сейчас все, принимавшие участие в голодовке, а с ними и противники ее из КРТД – все арестованы, находятся на Кирпичном...

Уже нет преданного Вана, вложившего столько трудов, уменья, догадки в создание больницы. Нет Вилки. Все затихло: ни чтений, ни концертов. Резче почувствовался запах лекарств. Белой тишины.

Когда этап женщин проходил мимо больницы, в одном халате я выбежала на крыльцо. Рая успела крикнуть: "За сценарий... сыну... позаботься..."* Небольшая, в своей отличной от всех замшевой с мехом куртке, она бежала последней и все махала рукой в маленькой рукавице.

Так и врезалась в память – яркая шубка на фоне снега и маленькая рука, издали посылающая все, что у нее осталось, – боль, тепло, тоску...

После гипса больных выписывали с временным освобождением от тяжелых работ, от леса. Несмотря на боли в ноге, доктор приказал палкой не пользоваться.

Работаю в зоне. Я – ломовой извозчик. В пустой сейчас теплице женщины лепят из навоза с торфом горшочки для рассады и выставляют их в плоских ящичках на мороз. Укладываю ящики на сани, везу и высыпаю замерзшие горшочки в огромные бурты.

В бараке-палатке Зоя с Люсей изловчились сохранить мое место. Из пересылки мы втроем, не разлучаясь, прошли этап со всеми промежуточными остановками. И сейчас живем в добром приятельстве.

Доцент-филолог Ольга Сергеевна Толчанина (Люся) – маленькая, худенькая, трудно поверить, что это мать десятилетней дочери. Ей хотелось иметь практику во французском языке, она написала в "Юманите" письмо: не захочет ли кто из комсомольцев вступить с ней в переписку. В "Юма" решили просто напечатать письмо в газете. Откликов пришло множество. Люся выбрала девушку – инженера метро из Парижа и студента-марсельца. Писали друг другу о спорте, театре, книгах. – Через пару лет Люсю арестовали, потому что, как сказал следователь, ее корреспондент выступал в Марселе с троцкистской речью.

– Меня загубил французский, Зою – английский. Даешь эсперанто!

Зоя, балерина-корифейка Большого Академического театра в Москве, как вьюн длинная, гибкая, с озорными глазами на маленькой голове. И Зою, как первую общественницу в театре и владеющую языком, приставили к приехавшим на гастроли балеринам. Она заботилась об их быте, водила всюду, и те, уезжая, оставили своему гиду подарок – сумку, духи, перчатки. Спустя три года Зоя была арестована по подозрению в шпионаже – за какие сведения заплатили вам иностранки?

Обе соседки в бригаде строителей, самой легкой и "аристократической" на ОЛПе – не висит норма над головой, остаются в зоне (всегда можно словчить в барак погреться), а главное – постоянная работа, к

---

* Секретарем первого Центрального Комитета Комсомола, фактический создатель его, был исключительно одаренный юноша-рабочий, прирожденный организатор, вдохновенный оратор – "наш Петька Смородин". Среди членов этого ЦК – Вася Лукин (завагитпропом) и жена его Рая Васильевна, автор книги "Подруги", позднее экранизированной (и державшейся на экранах вплоть до ее ареста) под этим же названием. Все трое расстреляны в 1938 году.

которой приноровился и чувствуешь себя уверенно, оседло. Толчанина – на красной доске: лучший маляр-штукатур...

Больших этапов на Воркуту нет, но все время выдергивают по одному, по несколько человек, гонят вверх по реке. Каждый развод, каждую проверку с боязливой тревогой оглядывали ряды, вслушивались – кого не хватает. Нельзя было не только предугадать – кто следующий, но и понять задним числом: почему взяли, по какому признаку? Этой ночью так исчез нацмен, бригадир транспорта (хороший малый), скромный, болезненный собрат, возглавлявший слабосилку.

Кто-то из вошедших блатных прямо из дверей крикнул:

– Кляченки слабосильные, к вам бригадиром впихнули Киру.

Румяная, свежая, с ровными бровями-дугами.

Зоя с верхней нары посреди барака протянула к лестнице свою головку на змеиной шейке и, минуя промежуточные вопросы, громко спросила:

– С кем? ...

Женщины смеются. Но никто не удивляется. Голод, зверски тяжелый труд с невыполнимыми нормами, угроза карцера, если выполнишь за день менее двадцати процентов положенного, а то и нового "дела" невыполнителям ("саботаж") фактически толкают женщин на проституцию – расплачиваться телом своим за кусок хлеба, за "легкую жизнь" (контора, медчасть, кухня, склады, парикмахерская, пожчасть, пошивочная, инструментальная и т. д.), чтоб избежать доли большинства и всех КРТД – "общих работ": лесоповал-лесопогрузка, шахта, снегоборьба, сплав, покос по колено в болотистой жиже среди туч мошкары и гнуса, полив огородов с водоношением с реки в гору, чистка-вывоз отхожих мест, дорожные работы – мало ли еще чего. Соседка моя, учительница, "устроилась" с уркой-нарядчиком, понуро исповедалась: "Что поделаешь, измоталась, изголодалась, или в петлю, или к нему под одеяло"...

Другое сообщение, прямо касавшееся меня, было серьезным и огорчительным: у возчиков новый бригадир – Кусаев. На воле, там у себя, он был одним из "руководящих товарищей", теперь из кожи лез вон, чтоб и в лагере в какие ни на есть начальники попасть. Ожидать тут можно всего, опасаться – многого.

В первый день своего бригадирства он подошел, когда я уже достаточно наработалась.

– Поезжайте за сеном. Вот разовый пропуск и записка к бригадиру – там работают, выделят вам подавальщика. Привезите побольше.

– Но я уж сбросила в бурт процентов девяносто. От тяжелых работ имею освобождение. Главное – до конца рабочего дня с возом не вернешься, а мороз больше 35-и и еще крепчает.

– Не хотите – запишу нарушение трудциплины и отказ.

Иначе говоря, езжай или иди в карцер.

Подавали сено споро и навивать воз помогли, бригадирша оказалась человеком душевным. Но обратный путь был трудным. Поземка намела-

насыпала, я с трудом вытаскивала ноги, копыта лошади выше бабки увязали в снег. Несмотря на понукания, Искра все время замедляла ход. И наконец встала.

– Ты с ума сошла, Искра, мы же замерзнем с тобой! Да ну же, ну! – в отчаянии кричала, дергала вожжи, хлестала ими. Ни с места.

Мороз крепчал. Я вздрогнула: на глазах с треском во всю длину расщепилась надвое прибрежная растрепа-елка. И пошло: царящая тишина то и дело разрывалась уханьем с сухим скрипом. Тени стали длинными, мрачными.

Решила взобраться на берег, сломать с упавшей ели палку, надо же как-нибудь сдвинуть проклятую Искру! Берег крутой, все срывалась, снег залез за ворот, залепил лицо. Совсем выбилась из сил, вернулась ни с чем к возу. Искра стояла, будто неживая, каменная.

Что же делать?

Лошади могут не хватиться до утра, они часто подолгу в обозах. Зоя с Люсей репетируют в самодеятельности. О зэка Иоффе забеспокоятся на поверке перед сном. Мы раньше тут с Искрой замерзнем. Решила влезть на воз, закопаться в сено. Но тут обнаружила, что руки, которыми я цеплялась, пытаясь взобраться на берег, остались разведенными в стороны, будто крылья. Не могла ни сблизить их, ни опустить. Нечего и думать взобраться наверх, руки не мои. Ноги тоже отяжелели.

Тело сотряслось от рыдания. Сдержалась – мороз скует ресницы. Они и так слипаются. Я устала, непреодолимо тянет в сон. Нет, спать на морозе нельзя. – Присела на оглоблю, оперлась о бок лошади. Ощутила слабое уходящее тепло.

Подняла глаза к небу, к пляшущим сполохам. А когда сквозь полусомкнутые ресницы глянула вниз, – северное сияние во всем блеске уже спустилось на землю, широко развернулось струящейся завесой из брызжущих светом тончайших стеблей. Эта отделившая меня от мира высокая завеса все извивалась бесшумными радужными волнами, легкие мазки невиданных красок танцевали, буйствовали, то пылая, то нежно-влекуще искрясь, излучали сияние, благодать невыносимой радости.

Но какая-то чуждая точка мешала полностью ощутить, забрать все свое счастье, точка назойливо росла, ширилась... Только когда совсем около себя увидела чужие розвальни, я очнулась, узнала тормошившего меня Михайло и до оцепеневшего мозга дошло, что это спасение.

– Да вы же замерзаете! Наверх, в сено! Не можете?

Михайло влез сам, сбросил часть воза и протянул свои обезьяньи руки. Он втащил меня на воз, со всех сторон накрыл толстыми слоями сена. Спрыгнул, привязал вожжи к передку саней и, будто грязью, забросал все видения тяжелым матом. Лошадь, привыкшая после дикого крика получать не менее дикие побои, рванулась с места.

– Теперь будет драпать до конюшни, меньше полутора километров.

Последними были самодовольные слова Михайлы:

– Это я залустил малый матросский загиб. А есть еще большой...

Он пошел к своей упряжке и, закурив, забыл и обо мне, и об Искре. Только после разговоров на ОЛПе, куда вернулся поздно, Михайло понял, что он есть спаситель и вообще герой. Когда его утром будили, огрызнулся – после "такого" выспаться желаю!

Зоя в обед и ужин стонет над миской, лагерный стол для нее мука. Жизнерадостность веселой корифейки дала течь – посылки иссякли, надежды потускнели. В долгожданном письме сестра написала: "Нагляделась и наслушалась, о чем просишь,– ничего не поможет... Я – лунатик, хожу по карнизу, по узкой жердочке ... Не обижайся, болит рука, писать не могу". – Ну, черт с тобой, любимая сестра, не пиши! Бросила письмо, обратилась к вошедшей соседке: "Пожарник у двери?" – И пошла: начальник военизированной пожарной охраны влюбился (с подношениями) в нашу балерину. – Зойка, Зойка...

("Все равно ничего не поможет". "Хожу по карнизу, по узкой жердочке". А тут тайфун, обвал, лавина, быть бы живу. Осмелиться? Все знают, что все равно "ничего не поможет". – И для человеческих чувств сердце закрывается. Холодный, жесткий ветер захлопнул все ставни. Уж не видят рук, взывающих о помощи, не слышат вопля утопающего. Доходит только угрожающий свист тайфуна. Еле-еле удержаться на жердочке, со всеми кричу, хлопаю, голосну, подпишу...)

Сейчас Зоя, всхлипывая, меняла повязки на моих руках. – Уткнув в колени голову, процедила: "Общественница кончилась. Пусти меня сейчас в Москву, только в театр вылезала бы из кабака..."

Дневальная поманила ее от дверей. Михайло передал мне презент, весьма по-лагерному богатый,– сгущенное молоко.

Я подняла голову с подушки:

– Слушайте, да он, может быть, украл эту банку?

Лохматые мои волосы подхвачены полоской бинта, чтоб не падали на густо смазанное лицо. Я смущенно потрясла забинтованными, похожими на культи руками и выглядела, наверное, очень смешной.

– Конечно, украл, откуда же еще? – "успокоила" Зоя.

– Надо как-нибудь потактичнее возвратить герою.

Пришедший доктор гмыкнул – занятная, чисто лагерная ситуация.

– Видите ли... Педагоги больше других любят шалопаев, которых они приохотили к книге, заставили полюбить учебу. Черствый хирург испытывает нежность к спасенному им безнадежному больному. Может быть, совершенно всерьез и в этой заскорузло-грязной душе появилась едва заметная светлая точка – бандит впервые в своей дурной жизни не сгубил, а спас человека. Люди лучше самих себя. Не портите ему праздника. Я б даже посоветовал хорошо одарить его.

Михайло вечером, конечно, явился к доктору – кто же откажет ну хоть в рюмке валериановых спасителю?

– А это бери от Марии Михайловны. Она о тебе хорошо думает.

Доктор не ошибся – пахан расцвел.

Почистившись, в новых рукавицах, он прошагал к моему месту (ему все можно). Полы расстегнутого бушлата были широко раздвинуты и

открывали – всем напоказ – мой подарок, шерстяной ярко-полосатый свитер.

– Поправляетесь, Мария Михайловна ? А за подарок спасибочко, он мне вроде ордена.

... Кто бы мог тогда подумать, что жизнь и смерть переплетутся в веселых полосках спортивного свитера? ..

Уж когда начала работать, новый вольный агроном в подходящую минуту полюбопытствовал:

– Почему вы тогда не бросили лошадь с упряжкой, не поспешили сами добраться до ОЛПа?

– Что вы...

Пока в лагере мера конечной беды – это новый арест. Все сначала: тюрьма, следствие, этап (сейчас этапируют, как правило, вместе с бандитами, что пострашней тюрьмы и даже "следствия"). Новый срок. А гибель лошади – они в Заполярье несравненно дороже зэков – непременно раздули бы в "саботаж", "подрывные действия", "экономическую контрреволюцию". На дополнительную десятку набрали бы.

Агроном, хороший человек, продолжал допытываться:

– Для спасения жизни это ж было самое логичное.

Самое логичное... Он еще не знает, что здесь логика не действует. Действительно лишь "так приказано". Приказ не размысливают и не судят. Его слепо выполняют. Все начальники, "попка" на вышке, овчарка со свешенным языком. И в первую очередь, конечно, зэки – люди, лишенные воли, для которых основа их миропорядка – приказное начало. Очевидно, уже переходящее в инстинкт. Потому что, вне всяких соображений о сроке, уйти хотя бы для спасения жизни одной, без лошади – мне тогда просто и в голову не пришло.

IV

Трагедии присуща атмосфера приподнятости, достоинства, чистоты.

... В лохмотьях грязных слов, под заборную лагерную похабщину дошла, врезалась в душу первая страшная весть.

В палатке, куда нас перевели, урки заняли места от входа до печки посредине этого барака – ближе к двери удобней общаться с воровскими главарями. Среди воровок – Машка-Голубятница, остроносая, очень худая, очень черная, с лихорадочным кирпичным румянцем на скулах. Дымя махоркой, она бесцеремонно расталкивала друзей и недругов, если ей вздумалось, подняв юбку и выставив острые коленки, погреться у огня.

Лагерная верхняя одежда – одинаковая для мужчин и женщин. К Машке пробрался и провел с ней, на ее месте, всю ночь друг из проходного этапа, шедшего с Воркуты в глубь леса, на дальнюю штрафную командировку. Кто-то донес. Машка угодила в карцер, уверенная (с полным основанием), что обязана этим старосте барака Немцовой, одной из доверенных начальства.

Отсидев срок, Машка появилась на половине 58-ой статьи, за печкой, подбоченясь одной рукой, с самокруткой в другой – раскрашенным чу-

челом среди серо-бушлатного мира.

На ней были сапоги с мягкими голенищами, низко собранные в гармошку и отвернутые, ярко-синие бумажные брюки в сапоги, с напуском, поверх – мятое,пестрое, в красных букетах ситцевое платье. Когда рука с куревом поднималась, широкий рукав падал на плечи, обнажая руку до темноты подмышек. Подол платья заткнут за пояс, между ним и брюками – нижняя юбка с порванными прошвами. Голова в разноцветных тряпичных папильотках, в ушах огромные медные кольца.

Подошла, задрала голову на верхние нары, где сидела обидчица, и начала скрипучим голосом, кашляя, хрипя и сплевывая на пол:

– Что, донесла, сволочь? Ишь какое дело сделала. Машку в кандей засадила. Моему блядскому счастью с Колькой позавидовала? Да ведь я ж на ладан дышу, а он на штрафную в лес идет, баб ему, может, во веки веков больше не видать. Жалко тебе, если напоследок налюбится? Человек, он жить хочет, а где она, жизнь? Чем могу, тем утешаю, ничего ж больше нет у меня. Да разве такая поймет? Я – девка, шлюха, а во сто крат душевнее тебя, образованное дерьмо. Где ж твоя душа? На морозе полярном замерзла, что ли?

Она зашлась матерщиной и долгим натужным кашлем с клекотом и хрипом.

Стукачку-старосту ненавидели, Машку слушали с некоторым сочувствием. Она откашлялась, отплевалась, стерла рукавом пот со лба, подвинулась ближе.

Вот что она сказала:

– Уж попляшете, с вас, проклятых, теперь шкуру сдирают, Трегубова долупили до смерти, Колька мой волочил его по снегу, потом закапывал, раз с палок дубаря дал. И не его одного. Молодец, Кашкетин, бей контру! ..

Трегубова, киевлянина, человека грубоватой прямоты, старого партийца, знали все и почитали за чистоту его и непреклонность.

"И не его одного"...

Впервые во всеуслышание, на весь барак прозвучало это имя: К а ш к е т и н.

Впервые вдавилось в сознание: вот что такое *Кирпичный.*

На разводе узнали: ночью из лагпункта на Воркуту погнали всех лошадей с санями. Возницы через неделю вернулись похмуревшие, неразговорчивые. На расспросы огрызались или не отвечали вовсе.

Поздно вечером Михайло зашел к доктору. Рассказал: на последней перевалке возчиков ожидали солдаты, забрали упряжки, уехали. Через сутки другие солдаты вернули лошадей (чуть не со всех ОЛПов), старший сказал: "Только посмейте развязывать языки..." Что-то нехорошо, а в чем дело, никто не знает. Перевальщик шепнул: "За мужчин не скажу, не знаю, а с женского корпуса, слыхать, всех вывезли. Двоих отправили вниз, которую-то на ваш ОЛП..."

Нашлись, что видели Зосю, ее провезли оттуда мимо нашего ОЛПа, на

лагпункт слабосильных. Говорить ни о чем не хотела или не могла. Сообщила только, что другая женщина слегла на станке.

– На котором? – спросил доктор, берясь за бушлат.

– Сказала – не помнит.

– Надо было допытаться, ближе к нам или к ОЛПу выше?

– Пробовали. На все отвечает: не помню. Наверное, так и есть, несколько раз просила хлеба, явно забывая наш ответ.

... Когда умерла мать и отец привел в дом махечу, Зося и ее обожаемый старший брат Володя должны были бросить учебу. Отец нашел сыну место в конторе, но он, а за ним и его сестра встали к станкам на одном из крупнейших заводов. Революция застала его в тюрьме как руководителя подпольной большевистской группы. Только после гражданской войны он сумел продолжать учебу.

В 37-ом Владимира Яцыка расстреляли.

Зосю отправили в лагерь со статьей брата. Она о судьбе его не знает, знать не хочет и живет надеждой на встречу с Володей.

Переодевалась я у своего места, когда вразлет распахнулась дверь. Никто ее не запер – так стремительно вбежала Оксана. С непокрытой головой, узел волос распустился, большой платок, зацепившись за валенок, во всю длину волочился по полу. Она остановилась, по-неживому протянула руки, что-то силясь сказать. Потом вырвалось сдавленным криком:

– Георгий – нет его... Скажите, это неверно, так не было? ..

Женщина с Кирпичного появилась, как тень. Молчала с неподвижным лицом. Работать не могла, но оставаться в палатке боялась.

В лесу к концу дня у костра никого не было, и я нерешительно спросила о Рае, о Зосе. Женщина испуганно огляделась, беззвучно начала:

– Вечером к нам в камеру пришел начальник Кирпичного. Сказал, завтра – этап, выдадут по полпачки махорки и по полпачки цветочного чая. Паек в пути. Обрадовались. Не все были в состоянии идти. Их повезем. А далеко, одеваться теплей? Да, отвечает, далеко – и вдруг иа полслове выскочил за дверь. Утром оживленные, довольные поддевали кофты, сверх шапок накручивали платки...

Много телег. Всех увели, чемоданы на телеги, и больных повезли, там лазарета не было. Мы остались втроем. Нас двоих вывели на другое утро, сказали – на ОЛП. У Зоси нет шапки, а мороз. Каптер велел – выбери себе в кладовке из второго срока. Я жду у ворот. Вдруг крик, крик все громче. Бежала, кричала Зося, дует ветер, волосы стоймя вокруг головы, глаза, как блюдца. Я не могла ни с места. Подбежала она, еле я разобрала:

– Там... Там... Раина шубка, в крови... пятна слиплись... Кровь...

В сени вошел нарядчик, развернул приказ. Я находилась в это время в дальнем углу огромной палатки. Прежде чем что-то уловил слух, глазам предстало – все сползают, выходят из проходов, поднимаются со скамей. Все встают, застывают.

– ... расстреляны нижеследующие...

Фамилии, фамилии, фамилии...

Среди других святотатственно перемешанные в списке с именами оголтелых бандитов значились чистейшие пламенные революционеры... Огласил две подписи – всем запало в память: К а ш к е т и н.

Водворилась тишина. Впервые шумный жужжащий барак онемел. "Народ безмолвствует".

Он сейчас проголосует за что угодно. Такое голосование – тоже безмолвие.

("Приказ" глубокой занозой вонзился в сердцевину жизни всего барака: при одном только громко названном имени Нечеловека стогласый барачный гам, гул, крики, ругань, мат – обрываются мгновенно, все замирает в мертвой тишине, все насыщено ожиданием – небывало страшного.)

В сдавленном беззвучии слышен был даже шелест бумаги в руках нарядчика. И вот, когда свернул ее, там и сям раздались... ... аплодисменты. Да – рукоплескания. Аплодировали тому, что значилось в приказе смерти.

Когда на одном конце вершатся насилие, произвол, звериная жестокость, на другом – буйным сорняком разрастаются пороки, ублюдочное племя трусости. В лагере нет закона, есть Начальство. Не защищенные законом, не имеющие в нем опоры, люди с трепетом ждут всего для себя только от Начальника, которым заменен закон. Слова его ловят, желания стараются угадать. Так родятся лицемерие угнетенных, лагерное угодничество и подхалимство.

Родятся аплодисменты удару смерти по лучшим людям.

Ни Георгия, ни Раи в списках не было.

Значит, всего погибло – тысячи?

И уж с другого дня со всех сторон, как шум из леса, прихлынуло, растеклось – расстреляны, забиты, утоплены в баржах с о т н и т ы с я ч...

Мой наряд – топка теплицы в ночную смену. Сначала на берег за дровами. Холодно, кончается ледоход. Багровое солнце, погружаясь в реку, хищно оглядывало воду, черно-красной запекшейся кровью проступавшую меж раздробленных посиневших мертвых льдин.

Меня вновь охватывает щемящая, пронзительная боль. Снова встает – невозможность, необъятность, чудовищность происшедшего.

Собрана, подтянута к северу огромная гора людей.

Верхушка, лучшее – уже срезана.

Мы здесь для того, чтобы умереть. Но, пока живы, пусть мертвые укрепят силы живых...

В грязные стекла теплицы сочится мутная, злая ночь. В ее выжатом свете по всей длине теплицы тянутся мертвецы в крови, жизнь – ужас. Вздремнула – все цепко перебралось в кошмары сновидений.

Едва дождавшись развода, сразу после ночной работы напросилась с бригадой в лес. Следующая ночь – в палатке.

Подножье леса полно бурелома. Снежный покров ослаб, разрыхлился. С каждым шагом нога проваливается в гниющий сушняк, с трудом вытаскиваешь. Май в лесу – самое трудное время.

День за днем тружусь на лесоповале. Рубашка в испарине, бушлат мочит капель с подтаивающих днем на солнце снежных шапок.

Тяжелый труд заполняет время, усталость туманит мозг.

Отчаяние – это реакция на что-то завершенное, окончательное. – Т у н д р а – оно продолжается, пронизывая беспокойством, ожиданием катастрофы.

Раз, провалившись, только с помощью лопат и протянутых рук сумела выбраться из зажавшего поврежденную ногу валежника. Снова захромала, и вспухли к тому же приморожденные кисти рук.

Дождалась тепла. Весь воздух пропитан, пронизан писком. Комары! Они носятся сплошными тучами и кусают, как голодные псы. Вмешался доктор – и я, самобичуясь ветками, сторожу по ночам мешки с мукой, уложенные в штабеля на берегу. – Когда приходится охранять соблазны, выбирают сторожа, как в старину хранителя казны: главное, чтоб не воровал. Тогда длань власти указывает на статью 58-ю, даже со скверную пунктов.

Какое-то движение на том берегу. Это скачут галопом отправленные днем на остров за сочной кормежкой молодые бычки. Никогда не думала, что быки – плавают. Вышли на берег у навеса, морды в крови. Они бежали от пискучей твари, которой знаменит остров. Одного бычка не досчитались: комары закусали – до смерти...

Открылась навигация на реке. И пошли вверх заключенные, может быть, тоже – до смерти...

Ночью ушел Глеб Елизаветский. На пароходе, в сторону от Воркуты.

Доктор бросился в контору. Удалось выяснить, что "бумага с пелициподами", как называл он донесение о находках Елизаветского, подписана, лежит без движения в папке начальника. Доступными ему способами доктор добился того, что бумагу зарегистрировали, надлежаще запечатали и отправили вместе с другой почтой на Воркуту.

Наш доктор с полным основанием надеялся на спасительную силу пелициподов: с поисковыми работами на нефть и уголь торопила Москва, а мест обнаружения здесь никто, кроме Елизаветского, не знал. Еще шанс на успех – Елизаветский из беспартийных, к таким относятся не столь ревниво. Боялся доктор одного: при волоките, медлительности, особой, ведущей к инертности обстановке, может получиться,– будет поздно. Он тут же подал рапорт: срочная необходимость везти больного на операцию в сангородок, сопровождение врача обязательно.

Друг его, воркутский врач, доступными ему способами устроил так, что конверт законным порядком очутился поверх всей почты на столе у начальника всего лагеря. Главный инженер (из заключенных) официально запросил о разведках на местах. Только бы не опоздать...

Во время ночевки доктор прочел там чудом просочившиеся с Кирпичного две статьи разной давности. "По уровню мысли, да и слова ничего похожего не читал с конца двадцатых годов", – говорил он, возвратившись на ОЛП.

В ушедший без него этап попал и Михайло, воровской пахан.

На ОЛПе вздохнули свободней: начальник отбыл в длительный полярный отпуск. Хозяином остался замещающий его агроном. По сему случаю у меня постоянный пропуск за зону – в паре с Дашей работаю на поливе парников. Даша – швея-художник, но и все делает уверенно и хорошо. Ведра, опущенные в реку ее ловкой рукой, наполняются сразу. Ничуть не расплескав, выносит на пологое место. Потом обе поднимаемся с коромыслами наверх. Даша из сочувствия идет медленно, в ногу. А я – почти шатаюсь от тяжести ведер. Наверху требуется по крайней мере минут двадцать, чтоб нога на высокой стойке хоть немного отошла.

Нащупывая в кармане спасительный пропуск, хромаю-лечу с горы, не обращая внимания на развязавшиеся веревки огромных чуней, вниз, к остановившейся у причала шняге. Вижу, со стороны больницы, не сняв халата, с биксом в руках бежит доктор.

Хоть что-нибудь узнать! С исчезновением Михайлы оттуда не доходило ничего. И я спешила, неслась, лодка могла остановиться только проездом, сразу же пойти дальше.

На берегу стоял человек среднего роста, худой до того, будто рубашка и брюки на палках. Можно было мерить рост, ширину костлявых плеч. Третьего измерения, казалось, не было.

Конвоиры вошли в прибрежную землянку, они могли появиться оттуда каждую минуту.

– Вы больны? Я врач, мне приказано встретить, оказать помощь.

– Не мне. За нами идет самоходная барка, там сумасшедший солдат с сопровождением, так, наверное, ему.

Человек передал доктору записку, устные приветы.

– Что – там? Говорите скорей.

Но худой человек ничего не мог "скорей". Стоял совершенно неподвижно, и глаза были неподвижны, все лицо будто пеплом запудрено. Говорил тихо, слова – только звуки, их не наполняли никакие чувства. Подумала :"И сам, и разговор – какой-то бесцветный тлен".

– Куда вас везут?

– Не знаю. Как отбыл Кашкетин, с Кирпичного вывели некоторых людей. Попал в эту группу и я, квалифицированный наладчик с Кабельного, наверное,– где-то нужен.

– Вас допрашивали на Кирпичном?

– На Кирпичном никого не допрашивали. Холодно там и негде. Кого подвергали... перевозили в тюрьму на Воркуте.

– Но там никакой тюрьмы нет.

– В самом большом бараке заколотили вслепую окна, переделили

перегородками на клетушки. Вот и тюрьма. Заканчивают другую, настоящую.

– Что на Кирпичном, скорей, хоть пару слов.

– Был массовый расстрел, слыхали? Голодали мы, сплошь – дистрофики, но такого не предвидели. Устная газета "Правда за решеткой", кружки, много было знающего, умного народа. Иногда выпускали сатирический листок "Подначник", Вилка, староста нам, редактором, а иллюстрации из людей на фоне стены. Смеялись, там больше молодые были. Когда сразу все кончилось, "Кирпичный" смертников – закрыли. Там уже оставалось всего несколько человек. Теперь только тюрьма. Остатки туда перевели.

– И женщины в тюрьме?

– Были. Теперь не знаю. Видел, как вели оттуда в т у н д р у Яблонскую. Красивая такая. Руки связаны назад, а голову держит высоко.

– Но теперь, с отъездом его, прекратилось уничтожение людей?

– Нет, – однотонно, равнодушно, как механизм, ответил наладчик. – В тундре палатка, из тюрьмы теперь сначала туда, а ночью выводят, расстреливают. Наверное, так по инструкции, чтоб ночью. Но в Заполярье ночи с марта – белые, из бараков, что окнами в тундру, видно, как падают... С такого люди не в себе, порастерялись, в доносы дело пошло. Мы перестали и разговаривать друг с другом...

Что сделали с рабочим! .. Из тех, для кого делалась революция,– выдавили, иссушили все живое. (На воле – заливаются водкой...)

... Из землянки поднимались конвоиры. Я поспешила уйти.

Наладчика повели на ОЛП.

Шнягу привязали к врытому в землю короткому столбу.

Кирпичный собрал под ветхими кровлями творческую элиту лагеря, людей смелых дум. Неподвижной жизни в невероятно грязном, полном больных, холодном ящике они сообщали живой динамизм спорами, натренированными уменьем в поисках логических прогнозов, подчас пророческих. Ядовитые сарказмы обнажали сущность, казалось, непонятных явлений. Но "газета" выходила все реже, голодная дистрофия, отсутствие воздуха лишали сил.

И однажды выдали махорки: собирайтесь в этап. Будто взбрызнули живой водой. Тюрьма, казавшаяся неизбывной, чудесно кончается.

Творческим умам достаточно одного толчка. Утром вскочили, заряженные новым полнозвучным порывом. В путь, ура чистому воздуху, белой дороге, какой-то новой жизни! – Короткие веселые сборы, они умели шутить.

... Через час, как вырытый пень с обрубками корней, упал первый. За ним вся шеренга, мужчины и женщины, раздерганными узлами, комьями без формы как попало полетели на дно старой каменоломни. И были придавлены трупами следующих очередей.

Мыслящих всегда меньшинство. – Избавиться от них в первую очередь! Раз-два – огонь...

Стоя перед своей могилой, они пели "Вихри враждебные"...

Звуки песни смешались с залпами.

Кашкетин стоял в стороне, подавал знаки пулеметчикам.

Расстреляли песнь, души, жизни. Втоптали в землю недописанные страницы. Сколько еще не успели они отдать революции, людям, жизни?

Их нет. Необратимо и окончательно.

Спустя пару часов узнала, что попутная баржа с больным солдатом пошла вниз. Замотав палец тряпицей ("на перевязку"), побежала в больницу, к доктору.

Он был бледен, сосредоточен, рассказ предельно короток.

... Когда все было кончено, подводы, забравшие верхнюю одежду расстрелянных, вслед за ними распорядители во главе с Кашкетиным отбыли. У почти заполненной мертвыми телами незасыпанной длинной каменоломни Кирпичного остались пулеметы с обслугой.

Беспредельная синяя тундра, бездонная тишина.

И вдруг над грудой трупов выросла белая, очень высокая фигура. Окаменевшие постовые услышали: "Я жив. Кончайте меня".

Кончили... и тут один из солдат, этот самый, сбросил с себя в снег шинель, ломая руки, дико закричал, заметался, бросился к яме...

... После укола не осиливший окружающей жизни заснул. В землянке доктор угощал спиртом старшего конвоира, он жадно пил – и рассказывал, говорил, проговаривался... как участник всей трагедии с пулеметами.

Бежали дни, недели.

Я разговаривала с агрономом, когда раздалось:

– Почему Иоффе в зоне? – Начальник. Вернулся из отпуска.

– Пошлите на остров, – коротко распорядился он агроному.

Была суббота. Вечером нарядчик огласил наряды на понедельник. Мне работать в том месте, где комары живьем заели бычка.

В воскресенье с раннего утра Даша что-то мастерила в окружении черных и ярко-синих лоскутков. И сделала мне драгоценный подарок: черная широкополая шляпа из старых шелковых трусов, к проволоке полей прикреплена длинная круговая вуаль из тюля (дал завскладом – кто же откажет человеку, что подвизается на парниках возле огурцов?).

Чудо-накомарник, все защищено, и не душно.

Уснуть не могла. Крушить лес, замерзать с лошадью на реке, корчевать – все несравнимо легче комариного острова, особенно с моими руками... Задремала только к утру. Чья-то ладонь тронула за плечо.

Будила дневальная. Рядом стоял комендант: "Собирайтесь с вещами".

О ждущей кого-то лодке не забылось. Но самой первой мыслью все же было: не надо идти на комариный остров.

Шняга стояла на том же месте. Рано утром пришла другая, снизу, прибыло на ней несколько заключенных мужчин. Они перешли в ту, что привезла наладчика. К ним присоединили двух женщин с лагпункта, и тогда шняга повернула обратно, вверх.

Одной из женщин была я. Другой – Даша из теплицы.

V

В Средней Азии сохранились глубокие ямы-колодцы с прямыми заглаженными стенками. В каждой, пока не внесут за него что следует, держали в старину не уплатившего долг. Внешний мир посаженного в долговую яму – только маленький кусочек неба. И как, наверное, протягивал он руки, улыбался вдруг попавшей в узенькое поле зрения неяркой звездочке!

Такой звездочкой было это путешествие.

На шняге пользовались полной свободой. Обитатели ее оказались народом еще не измотанным – веселым и полнокровным. Они не охали над собой, а всеми силами души впитывали радость дарованных – всего нескольких – подчиненных своей воле блаженных дней. Все запретное и тем более желанное как бы заново открывалось. Нашлись книги – читали про себя и вслух. Делали зарядку, загорали под самокурами в железных полубочках. Главное – делились мыслями о виданном, о продуманном. И все – без боязни, что коменданты разгонят или посадят в кандей. Это ли не праздник!? Мы с Дашей оделись в светлые платья. На головах – "испанские" шляпы-накомарники, черная и пронзительно-васильковая.

Среди обитателей шняги привлекал внимание литературный сотрудник столичной газеты Смирнов, самый старший годами и наиболее из всех сдержанный. Перед самым окончанием трехлетнего срока вместо освобождения его повезли вглубь, на самую отдаленную – и самую жуткую – точку лагеря. Он был прост, серьезен, вдумчив.

Прибытие на место ожидалось утром. Ночью спали мало. Над нами всплыла продолговатая, нежная, как персик, луна. Я откинула от лица "полог" накомарника.

– Вот луна, и что-то внутри толкает – смотри, смотри, не отрываясь, не упусти, всю ее забери в себя! Откуда вдруг такое?

Смирнов понимающе кивал головой.

– Как ни гони, но подспудно живет в нас чувство – обреченности...

У причала на берегу сразу всех разделили. Дашу вызвал нарядчик первой – в пошивочную для вольнонаемных.

Двое новых конвоиров привели меня в небольшой дом с закрытыми ставнями. Там было темно и, несмотря на июль, жарко натоплено. Нажаренной тьмой, валенками, толстой одеждой спасаются начальники от комаров и мух.

Включенная настольная лампа осветила двоих в свитерах под гимнастерками. По знаку одного из них чемоданы свои сложила в углу. Другой, у телефона и лампы, с заспанным одутловатым лицом, нажал кнопку звонка. Потом выдвинул ящик, достал соленые огурцы и, видимо, в охотку, хлюпая, грыз их. Послышались шаги, пришедший просунул в дверь свою и собачью головы. Не было сказано ни слова. Тот, за столом, не переставая жевать, махнул рукой в мою сторону. Солдат взглянул, сделал знак – выходи.

Тундра. В одной руке сворка от ошейника огромной овчарки, в другой – винтовка со штыком. Земля под ногами чуть поддавалась. Солдат с собакой позади, шагов не слышно. Скоро осень. Мох, трава начали жухнуть, покраснели. Тундра будто одно, расползшееся, красное пятно. Иду по смерти. И смерть за плечами. Что моя смерть прибавит жизни? Двинет вперед? Умираю походя, зря...

Впереди замаячило что-то темное, длинное.

...ПАЛАТКА...

Образ Яблонской всплыл и сгинул. Краски блекли, все становилось тусклым, распадалось, рассеивалось. Не я уходила, а мир уплывал, уходил от меня. Между нами уже неслышно звенит-ширится – ничто. Пришли легкость, пустота, готовность к концу.

Подошли к самой палатке. Оттуда слышим ругательства, значит – урки. Солдат постучал в дверь прикладом. Изнутри грубый голос спросил: привел, что ли? – Загремел засов.

Первое, что дошло до моего сознания, – потускневший, загрязненный, но хорошо знакомый полосатый свитер. На пороге с ключами в руках стоял Михайло, комендант смертной палатки. На лице его, одно за другим, отразились удивление, страх, растерянность.

– Принимай...

И тут глазами пахана овладела забубенная сила, дерзость, хитрость. Раздалась пулеметная дробь сумасшедших ругательств – проба испытанного приема "взять за горло".

– Что, под дырку – (он ткнул себя в висок) – и меня подвести захотели? Полная палатка мужичья, стервы голодной, а вы мне бабу подсовываете?

– Заткнись, до утра только...

– К утру – ничего не останется. Ты, что ли, отвечать будешь? – Опять ругань со сверхъестественными вывертами, криком на всю тундру.

Молодой конвоир оторопело оглядывался. Потом, очевидно, вспомнив – он же при оружии, – не выпуская сворки, взял винтовку в обе руки.

– Ты это брось, дверь не заперта, свистну их, от тебя с твоей псиной слякоть в землю потечет. Им, всей хевре в палатке, сейчас – безо всякого риска... – Михайло поднял два пальца, поднес ко рту. – Катись вместе с бабой, брысь, покеда не свистнул. – Снова крик, ругань, мат...

И я с солдатом зашагали обратно.

Сколько-то времени сидела в темноте. Кракнул выключатель – и начался обыск чемоданов. Обыскивают и живых, и мертвых. Ничего не чувствовала, ничего не ждала. Обыск быстрый, поверхностный. Закончив его, комендант пошел со мной к нарядчику.

– Завтра – в прачечную. Зайдите туда, договоритесь заранее о работе.

РАБОТА! – все существо мое устремилось навстречу этому слову. Кровь прилила к лицу, током понеслась по всему телу. И снова отхлынула.

Комендант ведет в барак. Рядом с комендантом случайный попутчик – солдатик, разговаривают на ходу. Навстречу – нет, я не ошибаюсь: бритоголовый, скелетоподобный, тень самого себя, но это Елизаветский, и с киркой.

– Глеб! – Я шагнула к нему.

Резко дернувшись, он отпрянул назад, бросил испуганный, затравленный взгляд на солдата. И, не веря себе, я услышала:

– Вы ошиблись, я вас не знаю.

Почувствовала укол, но на минуту. Ни на чем не могла сосредоточиться.

Барак низкий, нары в один этаж. Недалеко от входа висит над изголовьем знакомый ярко-синий накомарник. Дневальная раздвинула постели, дала место между Валькой и Дашей.

В бараке не сидится. Вышла походить по ОЛПу – отовсюду видна т у н д р а, никуда от нее не спрятаться. – Сырое бестолковое строение бани-прачечной. С нормой стирки заскорузлых шахтерских рубах и кальсон никогда не справиться. Значит – штрафной паек, потом кандей. Тоже смерть. Подумала, как о чем-то постороннем. Все впечатления скатывались с поверхности кожи, будто оберегая медленное пробуждение оцепеневшей внутренней жизни.

Поднялась на несколько ступенек, попала в длинную сушилку, там, развешивая, щупая белье, бесшумно, как в немом кино, бегали китайцы-прачки. И руки мои очутились в крепких пожатиях Вана. Мы глядели друг на друга, каждый не верил, что это другой.

Я заметила не слезы, а длинные влажные следы их, протянувшиеся по лицу Вана.

– Нета Вилика. Манога нета.

Много.

– Ста-ли-ляли, – всхлипывая, чуть слышно шептал Ван.

Голова моя упала на плечо друга, и только тут я разрыдалась.

Плачут только живые. Жизнь продолжается.

... Одни люди по формуляру приняли меня у причала. Друг[illegible] от[illegible]лили от остального этапа. Конвоиры повели в темное помещение, сд[illegible]там, в свитерах и валенках. Потом–грызший огурец, потом– солдат с овчаркой, т-у-н-д-р-а.

Даже в воспоминании – мороз пробирал от духа ленивой, равнодушной привычности "обслуги" страшного конвейра. Они уничтожали, а сами – не уничтожены? Вялого, мимолетного любопытства – и то не было. Простой служебный самотек, деловито-будничный и скучный.

Составная часть конвейра смерти и они – все "одобряющие" на собраниях. Миллионы. "И это похоже на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком". Гоголь – "Мертвые души".

Сначала принимают прочитанную резолюцию (единогласно), с болью насилуя себя. Потом менее нерешительно, но кроме страха есть еще и стыд. Ну, а дальше "голосование" – уже просто повседневное бытовое

явление. Конвейр: знай закручивай свою гайку – поднимай свою руку. Не обязательно вникать – что "одобряешь", кого убиваешь.

Омертвление душ.

– Ложусь в больницу, прошу оставить за мной место.

Это первое, что я услышала по возвращении из прачечной. Говорила Клавдия, она беспомощно стояла, держась за стену возле нар. Я подошла, чтоб помочь довести до больницы. Но та отшатнулась: не надо.

Из уст в уста пролетело по шахте – ее "вели в т-у-н-д-р-у".

Слева от места, отведенного мне, возилась Валька, справа из-под одеяла виднелась чья-то рыжая голова. Знакомый васильковый накомарник висел уже в самом дальнем углу, в конце барака.

Меня чураются так же, как, наверное, библейского Лазаря после его воскрешения. Нет, не так. Там наводил страх он сам по себе, здесь же каждый боится за самого себя (связь!). С этой боязни все и шарахаются. Среди толчеи, многолюдства вокруг одного человека незримая ограда, одиночка – для меня одной. Утратила связь и с ушедшими, мертвыми и живыми.

Мою шахтерские банные полотенчики, что, конечно, куда легче стирки носильного белья. Так стараниями Вана решили собригадники, бывшие студенты-сунятсеновцы. Ван занимается белыми халатами. Если замечает, что дела соседки плохи, спускает свою стиральную доску в ее лоханъ, мы рядом, в четыре руки, подгоняем норму. Бывший повар, покончив с дневным заданием, стирал для вольных. Они давали мыло и расплачивались продуктами. Питались все тут же, прачки по очереди приносили еду из кухни.

После работы в углу душной сушилки садились мы с Ваном за самодельный букварь. Не пропускали ни одного дня. Букварь составил и склеил еще в больнице Вилка. Так мы чтили его память. Настал мой черед удивляться смышленности, способности молодого китайца.

Раз он прибежал в прачечную с оживленным лицом: есть оказия, нужно послать доктору "поталака"..

– Лучший подарок будет, если ты напишешь доктору письмо.

Ван подал карандаш и бумагу – пиши.

– Но тогда это будет мое письмо. Ты уж сам.

Ван, сосредоточенно облумывая, водил карандашом. Я глянула из-за его спины: "Уо-чжен вумна догдола", – так начиналось письмо. К нему в качестве дара были Ваном приложены гвозди в мешочке и мыло – в том и другом больница всегда ощущала нужду. Как добыл Ван архидефицитные гвозди, об этом лагерную бурсу спрашивать не полагалось.

Удивительные дни переживала я тогда.

Как здание из полуразрушенного остова, заново ремонтируемое, возводилось в дополненном виде, так, казалось, возобновлялось и я, с какими-то несколько иными свойствами. Ни с кем не общалась, но трудно объяснимым образом была причастна ко всему вокруг. Стояли последние свет-

лые ночи. Луна висела круглым матовым кувшином. Проливала, как снятое молоко, свой особый свет. Бесцветный и свежий, а потому всепроникающий, он обнажал, будто в "Синей птице", душу вещей и явлений, вдруг ставшими понятными и близкими.

А когда ночи потемнели, сумерки стали страшноваты и пленительны: все сочетания черного с малиново-красным. Солнце заходило между высокими отвалами породы, одевало их, все окружающее пылающим дымом. Я смотрела, впитывала, чувствовала необычную внутреннюю наполненность, меня всю пронизывало ощущение жизни.

Незаметно подошел холодный сентябрь. Страшной палатки больше нет. Последним из нее был "выведен в т-у-н-д-р-у" комендант Михайло, бандит, дважды спасший жизнь одному случайному человеку.

В потяжелевшем воздухе закружились белые мухи. И настало утро, когда над ухом снова раздались слова:

– Собирайтесь с вещами...

Клавдия уже склонялась над раскрытым чемоданом.

VI

... Сборный пункт Воркута – Уса. Стояли на раскисшей земле: редактор "Труда" Г. Валентинов, крупный хозяйственник, Генеральный прокурор республики Николай Окуджава. Известный всей партии Сафаров. Обрусевший болгарин профессор Васильчин. Полный жизни и талантов, недавно с воли десятиклассник Вася. Заботливо проверяли его дорожную экипировку двое неразлучных питерцев – "Фомич" (партклички старого путиловца, члена подпольного питерского комитета РСДРП (б)) и его друг помоложе, Андрей. – Остальные тоже из первых прибытий. Мы с Клавдией присоединились к этой группе.

Подводят еще и еще. Все незнакомые.

Прибежал Глеб Елизаветский: "Меня обратили в нечеловека, ну, что же делать?" Я почувствовала отчаяние этого славного парня, отчаяние от самого себя. Протянула ему руку. Он прильнул, прошептал в ухо: "Я к вам за прощеньем, за отпущеньем, все будет теперь по-другому". Крепко обнял меня. В первый и последний раз...

– Моя сидеся. Ван этапа иди.

Улыбается одному пути с друзьями. Значит – раскопали старый список.

Ухая, налетал ветер, спутанный с дождем и снегом.

Четырехугольник черных человеков.

Со всех сторон идущие на него в атаку штыки.

Впереди Герасимов с наганом в руках.

– Разберись на протянутую руку! Не двигайся! Садись!

Все стоят – под ногами месиво из глины с дождем.

И тут в лицо – длинная, изощренная, с перекатами на все лады мерзости громовая матерщина... Но это же не урки, это поставленные государ-

ством блюстители порядка!.. – Все ошеломлены, оглушены до столбняка.

"Сядь!" Сели. "Встать!" Встали. "Сесть! – Встать!" и так далее, раз за разом, много раз.

– Шагом марш! С сидорами*, болванье, вещи им понадобятся там. – Герасимов ткнул пальцем в землю, хлопнул по ней сапогом. – Там, – повторил он.

Притихшие, молчаливые разместились на корме шняги, полной всякого хлама,щепок,устланной толстой насыпью мелочи угля и шлака. Конвой совещался о чем-то в носовой части. Аккуратная, организованная Клавдия, увидев в углу облезлый веник и лопату, собрала-намела с полу огромную, выше себя, кучу. Другие подошли помочь выбросить за борт. Тут объявился Герасимов.

– Это что? Кто позволил? Команда была? На место!

– Выбросим грязь, сядем на место.

Но от более грязной грязи зазвенело в ушах.

– Садись! ... ...

– Чего моя нога хочет... – Это внятно сказала Клавдия, продолжая веником уминать полутораметровый курган сора.

Огромный детина выхватил веник из ее рук. Она успела пригнуться, голик над опущенной головой полетел за борт. Отборной подлой бранью проводил ее до места.

Скамейки на корме – против ветра. Старались прикрыть лицо руками, рукавом бушлата, шапкой.

– Руки прочь! Открыть лицо!

Первой выполнила приказ Клавдия.

Этапники мокрые, грязные сидели, втянув головы, уронив на колени руки. Ураганный полярный ветер трепал кучу шлака и угольной крошки, метал комками в заключенных, острым песком бил в глаза, колол лицо, с головы до ног обдавал пылью бессильные, сжавшиеся фигуры.

Напротив спиной к ветру выстроились молодые солдаты. Смотрели. Воспитывались.

Начальник конвоя Зеленков – не молод и уже в оправе дородности. Распоряжения – и все остальное – доходят до нас непосредственно от его заместителя, очень высокого, видного, зычноголосого и непомерно глупого Герасимова. Прочие конвоиры вторят ему. Этапников набралось сорок человек, семеро из них – женщины.

Ведут неизвестно куда, но деловито, просто говорят между собой и с нами – з а ч е м...

На шняге прошли первый короткий отрезок пути. Дальше – курсирующие редкие пароходы: один, другой, третий. Арестованные по одну сторону, вольные пассажиры – по другую. Разделяет – ряд конвоиров. На людях все же легче. Разрешили даже играть в шахматы. По рукам пошла единственная появившаяся книга – томик Пушкина.

---

* Сидор – чемодан. (Блатной жаргон.)

Реку одолевали долго: пересадки с бесконечными стоянками, перегонами, ночевками в клоповниках тесных перевалок.

Каждый пароход, как сказочный змий, рыская по берегам, собирал живую дань – "кого поглотити". На всех остановках этап пополнялся "изъятыми" лагерниками. Наш ОЛП: Оксана с сыновьями 4-х и 7-ми лет, рядом Лариса. Обе – выскокие, черноволосые, обе красивые, но совсем по-разному. И еще Ниса, студентка последнего курса, крохотная, с большими разработанными руками крестьянки. Миловидная, волосы кудельками, все девчоночье.

Отдельно по сходням спустился доктор. Наш доктор...

Следующая пристань, командировка слабосилки: Зина Козлова и злосчастная Зося.

Дальше поступали незнакомые.

Последняя остановка вблизи устья реки. На берегу порядочно бушлатов. Вооруженный конвой.

Первые на длинных сходнях – трое мужчин, один – в нахлобученной лохматой серой шапке. Между ними и винтовками, замыкающими шествие, порядочно арестантов, группами и врассыпную. Но в нервной порывистости походки, скованности плеч со втянутой головой чувствовалась незримая вожжа конвоя, которой подчинено каждое их движение.

Иначе шел следовавший за ними – на расстоянии и как-то сам по себе. Подставляя ветерку непокрытую голову, спокойно затягиваясь махоркой, он ступал по шатким доскам, как по твердой земле. Прямо посмотрел на стоявшего у трапа начконвоя. Неторопливо обернулся к палубе и на минуту блеснул крепким рядом белых зубов – увидел друзей. Помахал и той же рукой провел по волосам, от лба к затылку. Знакомый жест – Костя! Он до трескучих морозов не надевал шапки.

Позади всех шел Карло, поминутно оборачиваясь к конвоирам, по-видимому, в чем-то энергично препираясь с ними.

Карло шел седьмой год, когда перед самой революцией, потеряв на фронте мужа, мать его перебралась с семьей из Петрограда в свою деревню в горах. Подросши, босиком пришел Карло в Тбилиси за наукой. Когда заканчивал партшколу, где и жил, секретарь ЦК Грузии Михаил Окуджава*, присутствовавший на выпускном экзамене, пожалел – нет у тебя среднего образования, а то бы в Москву, в университет. Карло протянул ему свой, только что полученный аттестат зрелости. Сдавал экстерном. В Москве со второго курса философского факультета все понимали – будет оставлен при кафедре, талант.

Ну, а Костя – это Костя.

Водный путь завершился суточным привалом на пароходной пристани. Выгнали из зала ожидания всех, кто там случился, зал разделили скамейками на две части: малую – для всех заключенных, мужчин, женщин и двоих мальчиков (садись на пол!), и значительно большую для дежурного конвоя. Там поставили посередине стол с табуретами, пили, ели. И сторожили.

* Расстреляли в конце 30-х годов.

Целые сутки! – Содрав с себя бушлат, как лягушачью кожу, Лариса перевоплотилась из зэка в женщину. Стала еще красивее. Вслед за ней и остальные шестеро (в зале жара) надели платья полегче, свои. Конвоиров это переодевание рассмешило, Герасимов хохотал до упаду. А маленький негрубый солдат, что сидел с винтовкой у самой "границы", не смеялся. С простотой парня из захолустья обратился к женщинам с тихой укоризной:

– В деревне перед концом не в наряды цветастые, а молятся...

Сразу все смолкли. Но довольно быстро отошли. Слова доброго солдатика не могли удивить. Тридцать седьмой год прошел, но он не ушел. Будь что будет...

Утром вывели на дорогу, там ожидал ряд телег. Всех рассадили по двое-трое, готовы в путь, но в прохладном утреннем воздухе брань Герасимова не умолкает. За эти незабываемые недели угроз, муштры, грязной ругани зэка стали молчаливы, послушны, как автоматы. Но брань – часть ритуала, приказ есть приказ.

В указанной мне телеге примостилась я на задке, рядом с конвоиром. Лариса взяла вожжи. Ехали трактом, потом повернули в лес.

У старой двойной ели остановились, недалеко источник с ручейком, конвоир эту часть пути знает. Они с Ларисой напьются и целый котелок захватят мне. Приказано: "Команды нет – сиди".

Одна. Не двигаться. Слушать шорох тишины. Ни о чем не думать. Последнее что-то не получается.

* * *

Не мне одной, видимо, надоело в отсутствие конвоя глупо торчать по тележкам. Близость воды сманила на риск, меж деревьев показались и еще этапники с разных подвод. Меня тихонько окликнули Костя с Карло. Я припала к котелку с водой, а востроглазый Карло, бросив "тут и ждите", побежал, привел Фомича с Андреем, и Вася при них. Питерцы устроились на полуповаленном стволе сухого дерева. А мальчик весь окунулся в очарование лесом, принес мне кисти красной рябины, глубоко вдыхал ароматы осени.

– Хорошо, здорово хорошо! А верхотуи наши, хоть вот такое чувствуют они, ходят когда-нибудь в лес?

И тут я, вдруг вспомнив, рассказала – со слов Радека на другой день после "пикника" – о состоявшихся там разговорах:

– Это было в начале 20-х годов. Тогда взаимоотношения покоились на обычае простого людского общения. После утомительного, напряженного заседания решили съездить за город, пообедать и отдохнуть на воздухе, что удавалось в то время редко. В саду-парке "Морозовка" после обеда на травке разговорились, кто-то задал извечный вопрос: что же все-таки лучше всего на свете? Каменев ответил, не задумавшись: "Книга". Радек сказал: "Более широкой радости, чем женщина, твоя женщина, твой человек, не может дать ничто". Бухарин даже встал: "Ни с чем не сравнимо ощущение себя вместе с тысячами на гребне могучей народной вол-

ны". Рыков пошутил: "Зачем далеко ходить, когда мы исчерпали удивительный коньячок". Всех реплик память не удержала, но хорошо запомнилась одна – Сталина: "Самое сладкое – крепко задумать, по-о-дождать, подкараулить, поймать – о-о-томстить!"

Карло очень внимательно слушал.

– Совсем, как днями, неделями упрямо ползать, хорониться за скалами, выслеживая врага. У нас, у Кавказа, есть неоспоримое свойство: острота чувств горного зверя. "Великому" инстинктивно, природно свойственны и его качества: коварство, мстительность, злобность, острый хищный взгляд, нюх, ловкость, упорство. И усвоен закон леса: властвует – только сила, внушаемый ею ужас. И еще – звериная хитрость.

Помните, у Ключевского: "... хитрость не есть ум, а только усиленная работа инстинктов, вызванная отсутствием ума". Бесплодный, примитивный неуч, он грабит мысли, идеи где только может. Одно с другим связать нетрудно, потому что приемлет всякие политические уловки, готов на любые беспринципные зигзаги – кто знает, куда они еще заведут его.

– Свой, на все готовый НКВД зажать в кулак, самоуправство, античеловеческую жестокость пустить под рубрику "для блага страны", "воля народа" – и "всемогущий гений" готов.

– Так ведь крутится же все – только исключительно по мановению его руки, чего ж он сокрушает и своих карусельщиков.

– Скажу, Васо: зверь не имеет воображения, поэтому все может мерить только своей меркой. И он *на всех* распространяет свой нрав, свое вероломство, готовность на любое предательство. Мир Великого – это мир подстерегающих коварных врагов и только сегодняшних попутчиков и пособников. Их нужно уметь подковырнуть, принюхаться к ним, пересорить, внушить взаимную подозрительность, страх. Потому что завтра или послезавтра они несомненно подтвердятся как заклятые враги – надо, чтоб они топили друг друга. Для Вождя человек – либо ступенька к цели, либо жертва. Здесь легко споткнуться и о соломинку, не попасть в точку, тогда ступенька захватывается когтями вчерашнего друга и в миг превращается в жертву. То, что мы наблюдаем постоянно при систематическом истреблении людей страны, главой которой он себя избрал.

Тут к нам подошел запыхавшийся профессор Васильчин.

– Еле вас нашел, слушайте: тот, в нахлобученной серой шапке, мой знакомый, я его из-за окладистой бороды не узнал, а сам он на людях не хотел заговорить с оппозиционером (втайне сочувствует, но надеется, чудак, что его еще выпустят). В процессе подготовки, под моим руководством, к ассистентской диссертации мы по-настоящему подружились. Его родственник не так давно был в числе командированных за границу. Русский американец, с которым имелись научные и сложились человеческие отношения, пригласил к себе в отель. Лично ему показал фотокопию двух документов, изобличающих Сталина как бывшего агента охранки. (Подлинник с предосторожностью хранится в сейфе.) Согласно выводам экспертов, бумага, чернила, штампы по давности – в точном соответст-

вии с датами документов. Задал ему вопрос: "Опубликуете?" Ответил: "Чтоб назавтра погибнуть в "автомобильной катастрофе?" И дальше объяснил, что он вдвое моложе "Великого", может и обождать.

– А что вы сами, профессор, думаете по этому поводу?

Васильчин чуть поднял и бессильно уронил руку.

– Такое страшное обвинение прежде чем предъявлять, надо весьма тщательно выверить и обосновать. Старых, прицарских, революционеров отличал дух отдачи себя за других, за свою правду. Жертвенность. ... Но тут человек, сам воздвигающий себе при жизни памятники, алчущий до извращенности все большей власти, забравший ее из глуби пролитого им моря крови людей, в том числе заслуженных, светлых. Он усвоил себе великодержавность, которой нужны несметные войска, краденые технические секреты, – за все это отданы миллиарды, его властью выжатые из страны, опущенной на самое дно голода, вплоть до людоедства, – такой человек НЕ МОГ чисто и жертвенно отдаться революции. Представить Сталина в роли одухотворенного, бескорыстного революционера – невозможно: материал совсем не тот. В этом нужно признаться открыто.

Костя бросил окурок махорки в траву.

– О том, что имеются на этот счет документы-доказательства, я слышал. Но документы требуют проверки. А решения о "подделке" могут появляться не без рубле-золотого фактора. Поэтому бесспорные слова могучего, светлого Шаумяна и старого подпольщика Лежавы – оба земляки Джугашвили-Сталина, хорошо знавшие его жизнь и его самого, – достовернее документов. Началось фактически много раньше революции. Выдвинутый партией и прошедший в члены Государственной Думы очень способный рабочий Малиновский, как известно, был позже разоблачен как агент охранки*. После поездки Сталина в Цюрих к Ленину, на которого он произвел отличное впечатление высказываниями по национальному вопросу (развивал взгляды самого Ленина, весьма вероятно – осведомленно "нашпиговали"), – вослед ему в Цюрихе появляется тогда уважаемый в партии Малиновский. ("Это будущий наш Бебель", – говорил о нем В.И.) Он докладывает о растущем влиянии меньшевиков, ведущих работу из важного гнезда – с Кавказа. Там подпольная типография и разветвленная сеть ячеек. Руководят Джордания, Церетелли, Чхеидзе,

---

* Назначенному С.-Петербургским губернатором барону Энгельгардту Охранное отделение доложило, что в Думе имеется агент-осведомитель Малиновский. Опасаясь скандальной огласки-разоблачения, новый губернатор сообщил об агенте архимонархисту депутату Пуришкевичу. Последний во время выступления с трибуны Думы Малиновского поднялся, подошел и, сильно хлопнув им по деке, оставил на кафедре перед оратором круглый рубль. "Сребренник Иуды!" – крикнул из зала депутат Марков-второй. Малиновский все понял и, покинув трибуну, сразу же сложил с себя полномочия депутата Думы.

(Приведено в точности по рассказу автору очевидца – депутата Думы, позднее Министра Труда в кабинете Керенского – Матвея Ивановича Скобелева.)

Чхенкелли, Думбадзе и другие. Были в то время – не в эмиграции, а в России – такие партийцы, как Рыков, Томский, Ногин, Емельянов, Свердлов, Сосновский, вожаки рабочих – Бадаев, "Фомич", Калинин, Бакаев и еще, сидевшие по тюрьмам и дальним ссылкам. Подпольной большевистской организации и даже заграничного органа печати – не существовало. До рабочих Питера и Москвы четыре раза в год доходила только "Правда", издававшаяся с 1908 г. Троцким (газета с.-д. интернационалистов) в Вене, куда в 1912 году большевики направили вошедшего в редколлегию Каменева.

И вот Малиновский в разговоре с Лениным утверждает, что, мол, верные люди и у нас на Кавказе есть, но для противостояния нужен там авторитетный организатор. Тогда же Ленин по настоятельному совету Малиновского вводит в Центральный Комитет ВКП(б) Джугашвили-Сталина.

Карло непривычно взволнованно, почти прервал:

– Если бы Сталин к Октябрю *уже* не был бы членом ЦК, – никогда бы он не занял высокого положения: руководство кавказских большевиков резко и отрицательно относилось к нему. А получилось, что фактически... царское Охранное отделение победило пролетарскую революцию...

Карло помолчав, отдышался, продолжал:

– Достойнейшие люди приводят слова признанного вождя большевиков Кавказа, расстрелянного англичанами, мудрого и чистейшего Шаумяна. Вот они:

"Мать Сосо, женщина нестрогого поведения, говорила соседкам: сын мой болел, некрасив больно – пусть будет священником, от людей почет и хлеба кусок верный. В семинарии Джугашвили не отличался успехами в учебе, но вызывал похвалы начальства усердием в молитвах и постах, к удивлению знавших его. – И вдруг все враз изменилось: молитвенник повел речи против самодержавия, да так, что весь причт был об этом осведомлен. – В партийную организацию эсдеков приняли с почетом: из семинарии исключен за революционную пропаганду!

Но после я и другие товарищи были озадачены: семь раз без всякой подготовки с воли бежал из ссылки, неизменно успешно, нигде не скрывался, попросту возвращался домой в Гори, к матери (сам никогда не работал). И хорошо известный местной полиции (городок тогда – крохотный), ни разу после побега арестован не был. Умело арестовывался "на деле". Сам взялся раздобыть денег на поездку за границу. Конечно, подготовленно, показался "нужным" Ленину. В ЦК партии прополз".

Приводили соображения Шаумяна: "Коба рассуждал: семинария – не речист, неказист, в горной глуши так деревенским попом и подохнешь. Охранка – и платит небольно, да все побегушки... А при начавшемся голодании в городах и провалах на фронте сам Ленин считает революцию неизбежной. Тут, умеючи подойдя, – перспективы..."

Шаумян еще вспоминал: "После февраля Джугашвили, член ЦК РСДРП(б), не поспешил в центр, но буквально пропадал во всяких архивах Охранного отделения, рьяно вместе с восторженными толпами сжег все архивы. Якшался с меньшевиками, то он оборонец, то за "любой" мир, интриговал, ссорил товарищей – я просто выгнал его с Кавказа. Нам с Лежавой есть что о нем рассказать кому надо, когда будем в Москве..."

– А вы не спросили – чего же они медлили, черт их побери? Мы с Фомичем вот что услышали на ОЛПе от человека, к которому относимся с уважением и полным, абсолютным доверием. Он сидел на Лубянке вме-

сте с бывшим наркомом внешней торговли Лежавой, в камере на двоих было четверо, все – члены партии. Лежава сказал им буквально: "Меня, конечно, расстреляют, я не хочу уносить тайну в могилу, так слушайте внимательно.

Мне и Шаумяну доподлинно известно, что Сталин – бывший агент-провокатор царской охранки. Об этом мы собирались подробно поговорить с Лениным. Сталин был до того неведом, невидим и неслышен, что за многими делами, защищаясь от меньшевиков и, главное, от англичан, – увы! – не поспешили с этим".

Лежава, по-видимому, очень страдал не от страха смерти, а от сознания своей вины. Он, как бы оправдываясь, горячо ссылался на Рида, – вспоминал Фомич рассказ сокамерника Лежавы. – Убеждал прочесть книгу.

О знаменитой книге Джона Рида "10 дней, которые потрясли мир" в предисловии к первому изданию Ленин пишет как о "правдивом изложении событий", "от души рекомендую это сочинение рабочим всех стран", "книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров" и "переведенной на все языки". А Надежда Константиновна Крупская называет "10 дней" "эпосом революции".

И ни одним словом Джон Рид не упоминает о деятельности Сталина – столь незаметен он был в Октябрьские дни. А между тем, в книге Рида целая галерея крупнейших и помельче людей 17-го года.

(При жизни Сталина "10 дней, которые потрясли мир" из всех библиотек была изъята, ее отбирали как криминал во время обысков.)

В Петрограде Сталин появился в боевые дни: Ленин как раз вызывался на суд Временного Правительства. Сталин настаивал на явке на суд, "... да это ж смерти подобно!" – вскричал перед голосованием Бухарин.

... Перед внутренним моим взором восстал Смольный в 1917.

– "Задумка" Великого, похоже, довольно давняя, систематичная. Он первым осознал, что партийный аппарат – могучая, непреодолимая система приводных ремней. Надо только покрепче, сильной рукой держать конец, постепенно, не торопясь, к нему подобравшись. В 17-ом, после Октября, я была направлена работать в Бюро печати Совнаркома, его секретарем. В одной из комнат бюро находились тогда единственные в Смольном телеграфные аппараты – связь со всей периферией, вплоть до глубинки. Ежедневно и ежевечерне все руководители партии, весь актив ездили по заводам и воинским частям, говорили, разъясняли, вдохновляли солдат и рабочих. Один из людей Смольного, тщедушный, невзрачный – не были тогда известны низкий заросший лоб и маленькие звероватые глаза – не ездил по заводам и полкам: он непрестанно сидел на прямом проводе со всей провинцией, со всеми городами. Хотя секретарем Центрального Комитета была милая, мягкая Елена Стасова, повседневные инструкции, ответы на спешные запросы, текущая телеграфная переписка – все несло его подпись. Получалось так, что перед губернскими и районными организациями много чаще других мелькало, запоминалось одно имя. По соответствующему указанию ему же адресовались от-

веты. Никто тогда не обратил внимания на то, что один человек упорно приучает к себе, приваживает, мало-помалу завоевывает провинцию. В отдельных случаях вызывал руководящего работника к себе. На партконференциях у него больше знакомых, чем у других, приглашая "по-дружески" выпить, – узнает, чем дышит данное руководство. Так было в 17-ом...

– Ну, а что дальше? Мария Михайловна! – потребовал Андрей.

– Дальше? В 1919 году Ленин, с беспокойством наблюдавший за разлагающим действием привилегий, преимуществ и поблажек, с давних времен присущих власть осуществляющим, предложил организационно усилить контроль низов, рабочих, крестьян. Сталин немедленно нашел мероприятие "необходимым и неотложным", идею Ленина объявил гениальной. Ратовал за контроль низов так горячо, что тут же был назначен Наркомом Рабоче-Крестьянской инспекции. Ну, насчет рабочих и крестьян и сразу было что-то слабовато, зато Нарком, прихватив *своих* "рабоче-крестьян", вмешивался во что угодно, узнавал, что хотел, требовал замены того-то тем-то – понятно, "по решению комиссии рабочих", по поручению "комитета бедноты". Состояла при нем весьма преданная постоянная группа помощников. Кстати, Иван Фомич, вы как-то в разговоре со мной упомянули, что имели близкое отношение к Наркомату Контроля, вам лучше, наверное, многое известно.

– Да, в 20-ом году, во время гражданской войны, в Царицыне Обком выделил меня возглавить областной Рабкрин, как тогда называли. Я привлек специалистов, энергичных испытанных товарищей из рабочих, толковых членов комбедов. Опытный военный работник обнаружил злоупотребления и превышение власти комиссаром одной из гарнизонных частей, предложил замену ему. Обком подписал, согласился. Но сверху появилась резолюция: "Оставить на посту" и под ней подпись: Нар. Ком. Рабоче-крестьянской Инспекции – И. Сталин. Зазнавшийся ворюга продолжал свою деятельность. Некоторое время спустя он многолюдно, с оркестром и знаменами, организовал встречу откуда-то возвратившегося Сталина. Глядел я, глядел, как по кирпичику, человек к человеку сколачивается некий коллектив. Немного времени спустя понял: действия инспекций Сталина, члена ЦК, – совершенно парализуют первоначальную силу и независимость Советов. И ушел на фронт – не бузить же сейчас, добьем белых – поговорим.

– Зверь твой кавказский, Карлуша, в семинарии не блистал, но миссионерски "обращать дикарей" в свою сторону – научился.

– 1924-й – год смерти Ленина и год смерти партии. Убитой "ленинским призывом"...

Костя, промолчав, продолжал:

– Ворота партии, так тщательно охранявшиеся, чтоб не попал никто недостойный, – раскрыли настежь: рабочие, служащие, чиновники-бюрократы шли туда массами, затаскивались посулами скопом – им предстояло зарекомендовать себя прежде всего "сознательностью", "дисциплиной". Широко задуманный политический смысл "ленинского призыва"

был в том, чтобы разводнить революционный авангард в человеческом сыром материале, без закалки в борьбе, без опыта, без всякой самостоятельности, но зато имеющем застарелую, ныне культивируемую российскую привычку побаиваться начальства, слепо подчиняться ему.

Разительным примером, во что превратилась партия, были собрания актива при вступлении на рельсы оппозиции Зиновьева, тогда – руководителя ленинградской организации.

Весь питерский актив *единогласно* принял антисталинскую резолюцию. *Одновременно* собравшиеся активисты Москвы и области *единогласно* выступили против оппозиции.

Своих мнений уже не было: каков поп, таков и приход. Прихожане в большинстве народ новый, попы просеяны, подкуплены, а привычка смиренно побаиваться всеми методами укреплялась сверху и укоренялась все прочней...

Замедляя движения, поднялся с сухого бревна Васильчин, стоя помолчал. Точно мешавшую, стащил с головы ушанку, неумело пригладил рукой сразу распущенную ветром седину. И, словно через силу, начал:

– В лесу у костра я дал слово очевидцу, отдавшему мне сверхъестественные сведения о последнем часе Николая Ивановича Бухарина, – никому их не передавать. Но сейчас это уже утратило значение, слышал, кто-то устно или печатно их уже обнародовал. Да вряд ли рассказчик остался в живых.

– Рядом с помещением, где "приводили в исполнение", – зал заседаний "тройки". Сюда ввели и усадили за стол Бухарина, в руках приведших солдат – револьверы. Вслед им – появилась совершенно растерянная простая женщина, к коленям ее жалась маленькая девочка. В руках пришедшей – авоська, полная съестных припасов. Она лепетала заплетающимся языком: "Ничего не понимаю, я вышла из продмага, меня поманил шофер захудалой машины, сказал так добродушно – ну вот, нам по пути, садись, подвезу, ишь сколько набрала – и привез меня сюда..."

Тут вошел начальник с четырьмя ромбами: "Николай Иванович, если вы на этом листе не напишите своей рукой и не подпишите, что еще до революции выполняли поручения иностранной разведки–вот эта женщина с ребенком будут на ваших глазах расстреляны. Имейте в виду, это распоряжение свыше, такие ... обсуждению не подлежат". Бухарин вскочил: "Как? Заявить на весь мир, всем рабочим, что пролетарскую революцию в России делали предатели, изменники, шпионы? Никогда!" – "Но вы будете убийцей этих случайных двоих людей". На обеих навели взведенные револьверы. Начальник солдатам: "Махну рукой – стреляйте". Обернулся к Бухарину: "Ну?" – "Н и к о г д а", – тихо и твердо прозвучал ответ.

Начальник махнул рукой... Трупы еще оставались в зале, когда в соседнем помещении кончили Николая Ивановича Бухарина.

Все сняли шапки... Профессор закончил:

– Уверен, что рассказавший – один из исполнителей. Лишних людей там быть не могло.

Вдали между деревьями мелькнули две конвоирские шинели.

– Разбегайся...

Еще через минуту вокруг меня не было видно уж никого.

* * *

Да, репрессии ширятся. Не только ширятся...

С тридцать шестого колорит постепенно меняется. Поначалу развозили по лагерям в каютах и "столыпинских вагонах" (каждому свое место), с вещами и книгами. Писем пиши из лагеря сколько угодно. Многие ухитрялись вдвоем-втроем построить себе землянку. Почти как в Сечи, с поправкой на Заполярье: иди в курень, какой хочешь...

Потом загуляли другие ветры. – Все дело в постепенности, каждая ступенька готовит следующую, что пониже и потверже. В начале 36-го, если изымают из ссылки мужа и жену, можете брать с собой детей, вот вам комната и паек. Потом – отцов на крайний север. Детей увозят неизвестно куда. Сроки – сначала пять лет, потом десять, двадцать пять и, наконец, "без права переписки". Тут уж никто и спросить не смеет – куда, что за работа, на сколько лет. И какие там комнаты, когда океанскими валами катят новые и новые пополнения лагерей. Землянки рыли, и тех не напасешься. Стали разбивать палатки в Заполярье. Холодно? Это вам не курорт.

Партитура была разработана не только безжалостно, но и с терпением, с большой коварной продуманностью. Для начала были пробные флейты, а потом...

Бахнули и барабаны. Прикладом. Барабаны – живые головы...

Сидела я, сидела в телеге посреди леса, пить хотелось нестерпимо, наконец решила: какого черта, у воды – не напиться. И пошла вслед солдата с Ларисой, я долго провожала их взглядом. – Предо мной открылось мирное зрелище: время обеда, конвоиры отдельными группами раскладывали под деревьями снедь, собираясь подкрепляться. Моего среди них не было. Укрываясь за кустарником пошла дальше и почти наткнулась на съехавшую с дороги в кусты подводу. Из нее торчала разлохматившаяся простоволосая голова Зеленкова и тут же... Я стремительно отвернулась и припустилась, не разбирая,в какую сторону, по лесу, пока не упала, запыхавшись, на сухую кочку под желто-красным кленом.

Вот так бы еще посидеть одной под румяным деревом...

Клен уронил, прямо на бушлат, кровавую слезу. Поднялась – надо найти конвоира, я же совсем не ориентируюсь – в какую сторону податься. Деревья качались, шептались громче и громче. И под буйный, широко и вольно поднявшийся шум леса сама ищу меж деревьями человека, который поведет неизвестно куда, но известно – зачем...

На дороге осталась всего одна поместительная подвода. Большая часть этапа, с ней телеги, груженые чемоданами, и еще та, на которой дети, – ушла раньше. Наверное, уже порядочно опередили. Остальной транспорт возчики повернули обратно, к колхозным конюшням.

Набежала туча, мелким дождем смыло с неба солнце.

Зеленков решил наверстать упущенное время. Кроме него в подводе разместились конвоиры и Лариса – "я натерла ногу"... Герасимов, как всегда, с грохотом выстроил за подводой по одному, гуськом, оставшихся этапников. Вскочил на задок телеги, лицом к ним. Конвоир ударил вожжами лошадь, ударил еще раз, перевел на рысь. Герасимов крикнул:

– Бегом, поспевай, ну!

Бежали под дождем, отдуваясь, профессор с редактором; бежал, тяжело дыша, Сафаров; с плачем, всхлипывая на бегу, семенила маленькая Ниса. Скоро между телегой и заключенными все же образовалось расстояние. Герасимов спрыгнул с телеги, необузданная брань его забиралась под черепную коробку, держалась до следующего взрыва.

– Чего, как вши, ползете, трактором, что ли, в задницу толкать?

Более других из-за моей ноги отставала я. Когда поравнялась с шедшим почти в конце Костей, он втянул меня на свое место, стройная его фигура вырвалась из колонны и, обогнув на бегу, встала во главе ее.

– Никто бежать не будет. – Костя обернулся к этапникам.

– Равняйся по моему шагу. Пойду впереди. – И пошел.

– Беги! – Герасимов выхватил из кобуры наган, на уровне груди дважды выстрелил. Костя продолжал, не глядя на него, идти ровным шагом.

Когда раздались выстрелы, из колонны вылетел еще этапник. Впереди Кости встал Карло.

Он вполне владел русским языком, говорил правильно, чисто. Но "валял дурака под великого земляка", удачно подражая его акценту. Обратился к Герасимову:

– Ва, от ка-кой начальник па-ариказ бегать за тобой, как са-абака?

– Брось, Карло. Как его наган заряжен считанными пулями, так он сам – бранью из помойки да своим "без разговору шлепну". Больше ничего не может, не понимает.

Неистовство, матерщина, выстрелы.

Костя шел ровным шагом.

– Хотели бы сразу "шлепнуть" – прикончили б, как других, на месте, где мы были. А если ведут за тысячи километров, – еще нужны живыми. Пусть попробуют нанести хоть малую рану.

Прочертил ряд дорожек в намокших волосах. Точка.

Лошадь на рысь больше не переводили.

С тех пор Костя и Карло всегда возглавляли этап. Костя говорит немного. Зря никогда не задирается. Но Зеленков понял: этапники будут поступать так, как скажет Костя. Значит, надо иметь дело с ним и Карла не трогать – чего зря авторитет ронять, как было с бегом...

Ушедшие впереди ждали на стоянке. Соединились в общую колонну.

Шли по грязной избитой дороге. Изредка зычный крик: "Мужчины, отвернись, женщины, оправляйся!" – "Женщины, отвернитесь, мужчины оправляйся!"... "Чего в канаве припух, примерз, что ли ....й?"

Наверное, эту ночь в низкой общей комнате Лариса никогда не забудет. Она устроила себе на полу опрятную, почти домашнюю постель. По-

ка мужчин водили на оправку, надела шелковую ночную сорочку с вышитыми ее руками нежными орхидеями.

Все уснули тяжелым сном усталых людей. Разбудил шепот: Лариса старалась уломать, упросить конвойных вывести ее на оправку. Легла, встала, ходила возле постели. Снова подошла, с мольбой протягивала руки, заливаясь слезами: "Болит живот, не могу больше, кругом мужчины, сжальтесь!" – Грубый голос Герасимова: "Ложись, говорят!" Многие проснулись. Она пошла к постели. Лицо и шея были багровые. Легла. По комнате расползя тошнотворный запах. Послышались заглушенные рыдания.

Утром, когда все поднялись, задвигались, она умудрилась незаметно засунуть в огонь топившейся печки рубашку с орхидеями.

Утро, а почему-то не строят этап.

Оказывается, баня. – Оргия воды! Мылись и пили, пили и мылись. Шабаш влаги, чистоты, тепла. С лиц сошло напряжение, все молоды, все – нимфы теплых источников, чистых рек.

Когда вымылись, приоткрылась дверь против той, в которую входили: – "сюда!". Вышли мокрые, нагие. Подходили, обнаженные, к Герасимову, он вручал комплект новой одежды: рубаху с завязками у ворота, кальсоны, ватные шаровары, ватную телогрейку, бушлат, портянки, валенки, полотенце. Одевались на глазах конвоя. Чемоданы сдали. Из своего разрешили взять носовые платки, лифик, одно платье. Женщины изловчились еще на смену белья, кофточки. Ловкость приобретается практикой.

В дороге исхудали, выданная мужская одежда – нелепо велика. Я была озадачена, как сумею ступать в валенках на великана, нога в них болталась, как язык в колоколе. Но когда конвоир отвернулся, успела на каждую ногу намотать порядочно приданого и прикрыть портянкой. Теперь можешь смотреть, как натягиваю на куклы полуметровые валенки.

Костя считает – по приметам – приближаемся...

А Зося с расширенными зрачками шептала: "Вот так, вот так все было на Кирпичном... переодели..."

С окончанием речного пути прибавилась новая беда, лихо, напасть. Дневной паек – хлеб, порция сахара, селедка. Ходьба, свежий воздух заставляли съедать все до косточки. А воды в дороге нет. После грубой селедки жажда столь нестерпима, что кое-кто из мужчин решил напиться из налитых дождем лошадиных следов. Жеребятами, как в сказке, не стали, но за остановку черной бранью нахлестали хуже, чем скотину. Однако через час снова припадали к ямкам. На воду было невозможно смотреть.

Только перед ночевкой и утром вкатывали боченок. Все набрасывались, пили, пока не опустошат его до дна. Тут-то и начиналось настоящее страдание.

Явно спешили, гнали быстрым аллюром, в дороге Герасимов с конвоирами окриками и стрельбой не давали выскакивать из ряда. А ночью – совсем невозможно. Никакой параши в случайных помещениях, общих для мужчин и женщин, конечно, не могло быть. А выводили на оправку только утром и вечером.

– Начальничек, войдите в положение, это ж немыслимо! – слышала я ночью униженные слова то одного, то другого зэка, хотя уж знают – все поклоны тщетны. Сафаров где-то в дороге поднял бутылку и в тесноте стоянок мочился тут же, при всех.

Когда рассаживали по телегам, я твердо решила хотя бы на своих положить конец и муке жажды, и чрезмерному питью. Тем же способом, каким сразу же развела беду для себя.

Существенная новость: на каждой телеге возница – крестьянин. Значит, ехать лесными просеками, которые надо знать, в тайге легко заблудиться. Лошаденки ледащие, поэтому телег много, на все конвоя не хватает. Наша подвода – без конвоя. Я уселась рядом с возчиком.

Он мне понравился. Строгие понимающие глаза, а борода русая, в мягком серебре. Негромко спросил: "Откуда, как там, где были?" –"Я бы рассказала, но спокойней для вас – не спрашивать, а мне – вам не отвечать"–"И то,"– согласился он. –"А вы как живете?" Махнул вожжой: "Трудоден порожний, подался в кадру возчиком, да в сельпо ветер на полках. Картофлю впресную жуем". – Он завистливо косился на селедочный хвост, который обрабатывал один из седоков. – Вот как реализую принятое решение: половину селедки из нового пайка отдам ему.

Но выдали мне не четыре телеги не селедку, а розовую кету. Попробовала: сочная, жирная – и сама соль.

Ехали заросшей бурой просекой, почти по лесной целине. Лес пестрый, еще довольно густой, других телег и не видно. И я решительно, не сказав никому ни слова, всю кету отдала мужику, жадно на нее смотревшему.

Дальше случилось такое, что расскажи кто, подумала бы: из хрестоматии старой церковно-приходской школы. Но все действительно, слово в слово, было так.

Возчик восхищенно и нерешительно смотрел на рыбу.

– Мне? – усомнился он. – Да.

– Все? – Ну, конечно.

– Да вам-то самим голодно.

– Ничего, привычные, будем хлебушко есть.

Он резким рывком осадил лошадь. Спрыгнул с телеги, ударил шапку оземь, сам бросился на колени. Глаза в небо, широко крестился, задерживая крепкое трехперстие на лбу, на груди. И, будто извлекая каждое слово из души, истово произносил:

– Господи, помилуй их, люди-то какие хорошие. Молиться не учены, за добро, за муки, что претерпят, прими во царствие твое!

Из глаз на бороду текли слезы.

– Не знаете, куда едете. С Пасхи возим. Оттуда возврату нету. Царица небесная, помилуй их...

VII

Конвой явно нервничал. Этапникам приказано слезать с телег, выходить с просек на дорогу. Оксана на ходу обнимала плечи своих мальчиков. Худенькая шейка младшего беспомощно, будто от ветра, наклонена вперед. Я молча обмотала ее шарфом, пропустила их, сама задержалась под прикрытием могучей придорожной ели. Дождавшись Кости и Карло, тихо передала им сцену с возницей. Тут раздалась команда: "Разберись по четыре". Костя быстро, отрывисто бросал фразы: "последние шаги, бывает, самые ответственные...", "в произволе всегда много случайного, может еще повернуться по-другому...", "придется солоно, будем отвечать прямо, просто – это иногда отрезвляет...", "... заметят, что трусишь..." Герасимов оказался рядом и с криком "разговорчики замолчать!" прикладом подтолкнул Костю и Карло на их уже привычное место, в первый ряд. Пересчитали. Пошли.

Лесная дорога упирается в сплошной забор с тройным рядом колючей проволоки. Остановились против окованных ворот. С обеих сторон этапа – поводыри с собаками, старший предупредил: "Кто шевельнется – шкуру спущу", – и ткнул, держа за ошейник, собачьими клыками в сторону ближайшего арестанта. Вызвали Оксану с детьми: прощайтесь. Все трое не пролили ни слезы. Прощанье, увод конвоиром детей (за маленьким шарф длинно волочился по грязной дороге) прошли незаметно – мир чувств поглотил скрип огромных ржавых петель. Мальчики оглянулись на мать, когда прибывших уже всасывал разверзтый вход. Маленький отбежал пару шагов назад, весь потянулся к матери. Судорожно, жестом утопающего взметнулась на миг к ним рука ее...

Ворота за этапом сомкнулись. В тишине отчетливо прогремел засов, пролязгали замки.

Двор широкий, серый снег на осклизлых кочках и в талых лужах. Прямо против ворот в заборе маленькая, едва заметная калитка. Слева деревянное здание желтой одноэтажной тюрьмы, вход в нее – через высокое крыльцо со ступеньками. От них тремя отступающими рядами опоясывает тюрьму колючая проволока. Оконца забраны деревянными козырьками. Справа от крыльца – два больших зарешеченных окна, ближайшие к двери, настежь открытые внутрь помещения, – комендатура. Там довольно большая группа военных в добротных шинелях, с добротной осанкой, некоторые с нашивками и орденами. Явно – не тюремное начальство, повыше. Они оживленно переговаривались, жили в своем мире, кое-кто бросал рассеянный взгляд во двор, будто там не было безликих темных фигур. Скоро начальники вышли, но не на крыльцо – наверное, в глубь помещения. Остались двое в гимнастерках. Сквозь крупную

решетку виден узкий край шкафа, слева от него на стене Ленин, Маркс, Энгельс. (Очевидно, другие портреты дальше, в глубине комнаты.)

Этап построили лицом к тюрьме, первый ряд почти уткнулся в колючки проволок. Из окна комендатуры смотрят на черные бушлаты – здоровенный Голиаф и другой, поменьше, с крысиной мордой Смердякова.

Вокруг этапа, на шаг один от другого, солдаты. Команда – "раздвинься, стой смирно". Встали ровно-ровно в затылок, на расстоянии протянутой руки от соседей. Гробовое молчание. Ноги мои пришлись в маленькую глубокую снеговую лужу и тоскливо ныли в намокших валенках, но я, как все, не шелохнулась.

Один из комендантов крикнул в окно:

– Сафаров, сюда.

Изображая готовность, подавшись вперед, Сафаров торопливо поднялся на крыльцо, этапники увидели его в открытом окне.

– Знаешь, зачем приехал? – послышался громкий вопрос коменданта.

– Не знаю.

Смердяков поднял кулак и с размаха ударил Сафарова по лицу. Другой раз, еще, еще... голова Сафарова вздрагивала, моталась.

Сходил Сафаров медленно, лицо залито кровью. Он скрылся с конвоиром за калиткой в глубине двора.

Перед комендантом вызванный следующий.

– А ты, доктор, знаешь, зачем прибыл сюда?

Все видели, что было после "нет" Сафарова.

– Да, знаю.

Раз-з – и ослабевший за этап доктор, наш доктор, отлетел, ударился в стенку.

– Больно много знаешь.

Новые удары, хрястские, слишком слышные в тишине. Взмахи кулака, кровь, медленное оседание тела...

С крыльца тащили под руки.

– Догдола! – взлетел навстречу ему рыдающий голос Вана.

Ближайший солдат шагнул было в сторону голоса, но вдруг, когда за доктором уже захлопнулась калитка,я ощутила – произошло что-то, не знаю что, но еще более страшное, невозможное. И услышала: сквозь сжатые зубы едва ощутимым ледяным дуновением, трепетом ужаса по дрогнувшим рядам прошло имя –

– Каш - ке - тин.

Я не заметила, откуда показался коренастый человек лет тридцати с лишним, круглолицый и темноволосый. Форма, большие круглые очки в черной оправе. Глянул и ушел. – "Нисколько не изменился, ничуть", – еле слышно выдавила из себя Зося.

Через несколько минут меня ударили слова:

– Иоффе Мария Михайловна, к следователю Кашкетину.

Стою в своей луже. Ноги не повинуются, как во сне, приросли к месту.

– Ну! – нетерпеливо крикнул конвоир

– Идите, идите, – зашептали отдельные голоса этапников.

Глубоко вобрала воздух: в слепом страхе готовы перерезать веревку с человеком над пропастью, чтоб не угодить туда самим.

Во дворе, позади этапа, как туннель, строение без окон, выходящее и за ограду. Вот откуда он пришел. Надзиратель открыл дверь. Я не знала, что можно действовать руками, ногами – при отсутствии всех чувств: только – ужас. Переступила порог. Какой длинный коридор, где-то в подсознании мелькнуло – еще бы длинней, шагать, шагать бы, только б не дойти. Окно, за ним ели. Повернули налево. Дошли.

– Встать, лицом к стене.

... Почему именно – первой? И, как еще ни с кем не бывало, – сразу из рядов этапа. С именованием следователя. – Ужас, задушивший мысли, ощущения,распухал, растекался, заполнил собой все извилины, все щели, я вся оглохла, с головы до ног, зрение, слух закупорились вязким, непреодолимым...

... Сколько времени прошло здесь, у стены? Много. На то и поставлена, чтоб черный холод, как чернила, захватил насквозь весь ком.

Но они передержали. Напряжение было слишком сильным. Сам страх не выдержал, сдал. Колени уже не дрожат, горло не так перехватывает. И глаза разлепились, прорезались, что у котенка. Осмотрелась. Эта часть коридора шире и гораздо короче, род прихожей с выходящими в нее несколькими дверями.

... Здесь, в глухом лесу, за колючей проволокой властвует тот – внушающий трепет, на необъятном пространстве водворивший кладбищенскую тишину. Через часы или минуты увижу воочию – апокалиптического зверя из Бездны? Самое демонское начало?

За письменным столом, параллельно стене справа, все по одну сторону, сидят трое. К окнам – высокий курчавый блондин (Заправа), ближе к двери – желтолицый, с длинными залысинами. Кашкетин посередине, весь разговор ведет он.

Ни льда, ни мрака в глазах и ни железа в подбородке. Обыденное, свежевыбритое сытое лицо.

– Вам надлежит давать показания. Понимаете?

– Мне запираться не в чем, от следствия не уклоняюсь.

Кашкетин рассмеялся, ему обязательно вторят ассистенты. Глупый, беспричинный смех. Слишком громкий и деревянный для естественного. Кашкетин издевательски-раздельно произнес:

– Мария – Михайловна – соблаговолила – не уклоняться – от следствия... Подумаешь! Он взял в руки пресс-папье:

– Вот что вы для нас. Вещь. Деревяшка. – Нарочито-небрежным движением швырнул пресс-папье на пол. И будто собаке на поноску:

– Поднять!

Я не двинулась – что за паясничанье, что за чушь?

Кашкетин вскочил, заученно закричал:

– Встать, руки назад, к стене!

Все проделала, как гимнастику по радио. Стою. От большого стола отделяет теперь почти вся комната. И пыль улеглась. Страха – как не бывало.

(... Заурядец, стандартен, ни тени эмоций. И таков лик того, чье здание власти – никем здесь непререкаемой – целиком из тысячи трупов замученных, убитых людей? Этот, такой невозмутимо спокойный?...

Выходит.

... Обыкновенного рядового человека послали на обыкновенную рядовую работу: уничтожать людей. Он – истинная особь всей созданной атмосферы: безусловное подчинение вышестоящим всей психикой, делами, манерами – что бы они ни повелели.

... Очевидно, так: он усвоил, впитал одну краткую формулу: приказано – сделано. Убивать? – Есть. Вот они, мертвяки, сколько повелено. Забитые – закопаны в тундре. Теми, кого под пулемет, – он завалил брошенную, глубокую и длинную каменоломню Кирпичного. "И ничуть не изменился, нисколько".)

Снова на стуле, перед столом.

– Есть ко мне вопросы?

– Один. Почему уже отбывающую срок в лагере беспричинно арестовали снова?

– Потому что вы начали голову поднимать. Ну? – Кашкетин повысил голос, – чего молчите?

... "Отвечать прямо и просто"... "Заметят, что трусишь..."

– А вы считаете, что голова дана коммунисту, чтоб держать ее под столом, а поднимать – только руку?

В ответ ни слова, ни жеста. И тут Кашкетин – не поглядел – а на мгновение обдал меня ожившим взглядом. – Двое вопросительно и неуверенно, как-то сбоку посмотрели на главного. Он что-то сказал, оба помощника сразу, как по команде, встали, вышли из кабинета.

Я, конечно, уже стою.

... Сытый дядька в центре большого стола – это смерть. Наша, моя. Вызов в этот проклятый кабинет пусть будет поединком. Безнадежным? Похоже, так. Но с бессмысленной смертью борются, а не подставляют ей голову... Они же только что явно растерялись... потому что услышали слова, не предусмотренные инструкцией: ответ – не преподан.

Очевидно, главное – не утрачивать в себе себя. Обороняться изнутри. Вот, что дает силу. И твердый упор, отправную точку для каждого ответа...

Значит, Мария, так держать. Расстреляют? Наиболее вероятно. Но смерть для того, над кем она поднимает косу, – дело ответственное. Нужны выдержка и достоинство: они помогут в попытке держать руль так, чтоб стараться не попасть ни в водоворот, ни в вязкую тину.

Кашкетин пошагал по кабинету, потом рывком схватил телефонную трубку.

– Комендатура. – И, перемежая слова, очевидно, привычной матерщиной:

– Вас там двое. Пусть один принесет сюда... Да, все три.

Три толстые из сплошной резины палки, более полуметра длиной. Один конец – в деревянной оправе. Принесший их Голиаф, наклоняясь к Кашкетину, что-то быстро вполголоса докладывал. Кашкетин заинтересованно слушал, не глядя, нажал кнопку звонка. Конвоир, как положено, пропустил арестантку вперед, пошли обратно.

Коридор, приступка, двор. Солдат, конвоя во дворе уже не было. Из этапа осталось всего несколько человек, остальных, очевидно, развели по камерам. Костя в своем ряду стоит, как стоял, под самым окном комендатуры. Я постаралась пройти как можно ближе, глянула в окно. И обомлела. И я, и конвоир. В окне – Карло, взмахнув табуреткой, пошел на коменданта Смердякова. Мелькнуло: убьет. Наверное, то же подумал и конвоир. "Стой!" – крикнул он и побежал на выручку. Но,опередив его, по ступенькам взлетел Костя, успел на лету выхватить у Карла табурет, его самого оттеснить в невидимый со двора дальний угол.

Изнутри тюрьмы в комендатуру входили те самые начальники и оба следователя. (Смердяков, как под защиту, шмыгнул к ним.) Все остановились у входа, грозно переводя глаза с табуретки на державшего ее заключенного.

Костя стоял перед ними, один. Шагнул, поставил табурет к стене, оказался у ряда портретов. Подняв руку, указал на них и сказал:

– Эту галерею – уберите. Крест над бардаком...

Меня увели.

За калиткой – трухлявый барак-тюрьма. Козырьки выпуклые, длинноватые, совсем гробовые крышки. Над крайней торчит полуоторванная от карниза балка. Низкое разбитое крыльцо покривилось, ушло в землю.

Обшарпанная камера, примерно три на три метра. Высоко, почти у потолка, оконце в продольных железах. Под ним сидят женщины, на полу. Прямо против двери – Оксана. (Она удивленно вскинула на меня свои большие глаза: "Летний ливень как пройдет, – каждый листок горит, парится. Такой вы пришли, так говорили про Костю", – рассказывала потом мне Оксана.)

– Костя какой... и то на мисте избиений... Герой! – проникновенно шептала она.

Те, кто знал Костю ближе, покачали головами. Нет, героями становятся в минуты особого, высокого напряжения. А Костя – всегда такой, всегда просто, без выспренности. Его слова, поступки – это он сам, потому кажется, будто иначе и быть ие могло... – Зашуршали, заговорили, завспоминали.

До меня едва доходило, что говорили, шептали. Молчала, остывая. Все же разговоры, споры женщин возвращали от кабинета, двора, комендатуры – в камеру № 1. Здесь в углу стоит параша. И больше – ни соломинки. Ни нар, ни предметов обихода, ни вещей. От того, что окошко не посередине, а сдвинуто к стене вправо, стена эта кажется перегородкой. Полукамера полусмертников.

– Кому воды?

Наверное, тем, кто приходит оттуда, требуется вода. В "волчок" проклюнулся, и, будто с любопытством, осматривал всех вздернутый носик железного чайника. Первой вскочила Зося. Заторопилась, заметалась – лейте, лейте! Ее высокая, худая, растрепанная фигура со спускающимися ватными шароварами вся криво изогнулась, чтобы разинутый большой рот пришелся под самый носик чайника. И, несмотря на грозный окрик, на шикание Клавдии, я не могла превозмочь внезапного приступа безудержного смеха.

– Руки давай чашей, – рявкнув на меня, выдал Зосе надзиратель. Она протянула грязные ладони.

– Питье из чаши, в уборной – орлом, передвижение с провожатым на запятках. Шикарная жизнь! – констатировал шепот Ларисы.

К глазку подошла Зина Козлова.

– Пить из наших немытых рук не будем. Даже лошадей поят из ведер, а не из шланга.

В камере появилась побитая, почерневшая кружка.

За всем, случившимся в комендатуре, кабинет Кашкетина помельчал, отодвинулся. Но, конечно, дошел черед и до него.

– Резиновый кол... Маленькую собаченку, небось, одним ударом перешибет...,– размышляет Лариса.

– Маленькую-то? Конечно, – подтвердила Зося.

– А побольше, такую?

Лариса встала размяться, статная до царственности, и приподняла руку, не то отмеряя от пола рост собаки, не то указывая перстом на Зосю.

– Сами вы, Лариса, собака побольше, – отвернулась от нее Зося.

– Жалею, что нет. Сначала бы я загрызла Кашкетина, потом пугнула бы вас, Зося, вы мне ужасно надоели. Впрочем, нет, раньше всего... ого, сколько, оказывается, было бы у меня работы!..

Голая, бессильная лампочка под самым потолком. На полу темновато, холодно, тревожно. Все уже знали о словах крестьянина-возчика. В камере № 1 – надолго ли? Зося немедленно дала справку:

– На Кирпичном из тех, что были взяты первыми, некоторые пробыли даже по полгода. Ну, а потом уже все по три, а то и по два месяца всего.

– Кто-то присвоил наше время.

– Вот, что такое цейтнот, не условно-игровой, а бессмысленный, ужасный настоящий цейтнот.

Отбой.

Клавдия поднялась, она разумно и хозяйственно соображала, как постелиться всем без постелей, без вещей. Решили, придется – по двое: каждая ложится на свои ватные брюки, под головой – валенки, обе пары сверху покрыты одной телогрейкой во всю ее поперечину. Бушлат застегнуть и подвернуть, в "конверт" обеим засунуть ноги, чтобы не стыли. И накрываться другим бушлатом да другой телогрейкой.

– Вы с кем, Лариса, будете устраиваться? – спросила Ниса.

– Мне все равно. – И с вызовом ко мне. – В спешке партнеров не выбирают. ...

Вкупе с Ларисой Клавдия оказалась на лучшем месте.

– Завтра наша пара переходит на другой край, на ваше место, а вы, Мария, вместе с Зиной – сюда. Все передвигаются по часовой стрелке. Меняемся местами вкруговую.

– Идет. Так и прокружимся,провальсируем на тот свет, весь наш путь. Клавдия на всякий случай уже запасается добрыми делами.

– И других тянет за юбку на путь подвига, – раздраженно проворчала Лариса. – Еще не легче, стелись завтра у параши! ...

Камера № 1 – у входа наружу. Из-под дверей дует, как со двора. Никак не могу умоститься возле Зины. То бод боком стуэ-а голых досок, то над сползшим бушлатом мерзнут плечи.

– Прошу догадаться, кому я желаю такую постель...

Заснули. Лежу на спине, боясь шелохнуться, чтоб не раскрыться и не разбудить Зину. События дня вытеснили мой сон.

... Крестьянин, молящий небо, на бороде слезы, в словах – смерть. – Солдат с ружьем, уводящий от матери двоих малых детей. – Скованное молчание этапа между рядами собак (языки вывалены). – Коридор, в котором морозно и страшно. – Тот, пожиратель молодости и жизней (палки, непотребные слова). – Табуретка, вскинутая над истязателями...

История знает много пыток, казней, костров. Официальной жестокости с резкими гранями: кто, кого, за что. – В четырехугольнике окна, будто на приподнятой сцене, советские люди в служебном порядке беспричинно, жестоко, кроваво, всем на погляд избивали тех, кто на фронтах гражданской войны боролся за советскую власть.

Над калейдоскопом видений – Костя. Отмеченные души выбирают путь в одну сторону – раз навсегда. Зина права, жизнь Кости слилась со своей целью. Он не поступится ею. И никогда не пойдет за попыткой подмены живого смысла – бутафорией, опустошенным лозунгом.

За ржавыми петлями окованных ворот – стоячее болото. И тут же, за несколько часов, такое падение воды, движение душ... Как можно спать, когда вся пронизана горечью, как сама боль, и когда взволнована, будто счастливая... Чем? Тем, что им до Кости, до Карло никогда не достать.

Что же все-таки означал этот обдавший меня взгляд?

Чего-то я не понимаю...

Из семерых женщин пятеро – семейные, имеют детей, судьба которых туманна. Двое знают – они уже стали вдовами. У троих мужья – неизвестно где – "БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ". – Что такое "БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ", не знал никто. Одни говорили – работа в особо опасных копях. Другие, наоборот – пытка абсолютным бездельем, при отсутствии радио, всего печатного, простого карандаша. Третьи где-то слышали – это молчание пустыни, полный запрет общения, разговоров друг с другом. Все догадки и слухи, оттуда не было никакого знака, ни единой вести.

О своих дорогих, близких никогда не говорим. О них – молчат. И часто в темной камере будет кричать, биться о стены – молчание. Безысходная тишина...

Серый день. Трое за столом. Говорит, как рубит, опять один Кашкетин.

– Слушаем.

– Задавайте вопросы, отвечу.

– Это время прошло, когда с вами в вопросики-ответики играли. Сейчас некогда, вашего брата здесь целые банды. Нужны только имена контрреволюционеров, врагов народа. Называйте.

– Но я...

– Оглохли что ли? – Он ударил кулаком по столу. – Вашей наглой болтовней я сыт с первого раза. Не для того вас сюда тащили. Ну?!

Молчу.

Вошедший дежурный доложил – лошадь подана. Двое тотчас вышли. Кашкетин поднял телефонную трубку.

– Комендатура. Ты акушер? Приготовься к операции сегодня, ночью. Метод Заправы дает эффект. Во-во... Заправа – человек с идеями.

Положил трубку, облизнул слегка вывернутые красные губы. Посвистывая и улыбаясь, ко мне:

– Прокачусь по лесной дороге, вкусно пообедаю, часочка три-четыре сосну, чтоб набраться сил. А потом, если не вспомните известных вам врагов народа... Может, и не подохнете, но с вашей спесью вряд ли захотите остаться жить.

На дворе слякоть. За два длительных разговора запомнились кашкетинские интонации, модуляции голоса. В обращении к "акушеру", упоминании с повтором Заправы прозвучали новые предательские и еще какие-то мокрые, мерзкие ноты...

Профессиональные палачи держатся всюду тихо, в сторонке. Никто не видел палача пляшущим.

Тут, наверное, первый развеселый, распоясанный палач-убийца.

Он поедет укатанной дорогой леса, откуда по ночам летят из темноты залпы выстрелов. От первого же мы на холодном полу – сразу просыпаемся и молча прислушиваемся к последующим.

Вряд ли далеко от дороги, по обе стороны ее, происходят "операции", не захочет он – обязанный присутствовать – начищенными до блеска сапогами месить только начавшую замерзать вязкую землю.

И проедет сейчас вдоль рядов безымянных, наполненных им, заровненных могил. – Человек, единой капли смертного пота которого его убийца не стоит, – только что горячо дышал – а через минуту, после равнодушной пули, неостывшим брошен в холодную глину...

Палач едет, посвистывая под легкий бег коня, его ждет обед с изрядной выпивкой, сладкий, невинный сон.

А потом вернется, бодро примется за "работу" – сеять муку и гибель часто неизвестно кому: "вас тут целые банды".

Мне ничего не стоит доказать, что никого я не знаю. Но – ни бумаги, ни карандаша. Говорить не дает. Слушать не станет... Дважды подчеркнуто упомянул Заправу. (На всякий случай – "это все Заправа"?) Готовится такое, в чем впрок заготовляет козла отпущения, после чего "сами вряд ли захотите жить..."

Обед отдала Зосе, не могу. Тогда все уставились на меня, замолкли. Это хорошо, тихо.

Уселась в своем углу поплотней, голова на поднятых коленях, глаза закрыла руками.

Сегодня ему "работа" – это я.

... Все зависит от первых моих слов. Не должно быть, не будет ни тени просительства. Но это первое слово должно разбудить его интерес, внимание, заставить выслушать остальные.

Он силен, непобедим тем, что стоит за ним, что послало его сюда. Господи, иду, как Давид без пращи на Голиафа...

Сидела молча, локти на поднятых коленях.

Перед калиткой из штрафного закутка во двор тюрьмы конвоир привычно щелкает пальцами – сигнал во избежание встреч.

Двор, задушенный тишиной, простеганной страхом.

Ночь. Переступила порог. Кашкетин один. Скорей, пока не пришел тот, как его ... акушер.

– Ну!

Кашкетинское "ну" – угроза, звучит одновременно и как "но!" погоняющее. Я и сама спешу, пока не взял в руки телефонной трубки – скорей, будет поздно! И начала неровным голосом.

– О вас там, в Заполярье, говорили всегда шепотом. Вы – явление, вокруг вас тайна. Спросят и, затаив дыхание, с остановившимися глазами слушают. И я не удержалась, захотела узнать...

Говорила тихо, но быстро-быстро – успеть, пока не взялся за телефон.

– Я не расспрашивала о вашем характере, культуре, поступках. Но задала один вопрос: а он умен?

Кашкетин смотрел с презрительным недоумением, все порываясь прервать. При последних словах он, помолчав, процедил:

– Что же вам ответили?

Ага!

– Теперь я и сама узнаю. Пока слышу только брань, угрозы, мерзкие слова. Нет одного: следствия. Умный следователь умеет разобраться в материале. И без этого "вопросника", – указала я на резиновую дубинку.

Кашкетин поглядел на меня – и неожиданно глуповато, по-мальчишески фыркнул.

– Как? Вопросник?

Он поднял дубинку за деревянную рукоятку, резиной вниз и, ухмы-

ляясь, похлопывал себя по бедрам, будто в руках его не орудие пытки, а безобидный хлыстик.

– Вопросник. Беру словечко на вооружение. Кратко и точно. У вас, наверное, есть еще в таком роде, вы ж газетный работник. Выдавайте все сразу.

Он прошелся вдоль стола, вертя резиновую палку, стряхивая с себя смех, улыбку.

Садится за стол. Протягивает руку... ох! – ... и берет папиросу.

– Так что вы хотели рассказать?

Будто молния ударила по глазам. Ток счастья пробежал по телу. В этот момент была почти уверена – издевательств не будет. Пока – победа! Теперь слушай меня.

Все звучало ясно, просто. Малые (продуманные) подробности, детали представили короткий рассказ достоверным до очевидности. Обо всех обстоятельствах, замкнувших жизнь в круг семьи. И еще дальних окраинных командировок.

– Как это ни странно, я вам верю...

Зина не спала, берегла кипяток под одежками. Выпила, подобрала все крошки хлеба. Когда закрылись с Зиной бушлатом, я возбужденно зашептала, запинаясь, передразнивая, беззвучно смеясь. Все еще владела мною лихорадка человека, чудом спасшегося от смертельной опасности.

Назавтра все удивленно глядели, как Лариса, вызванная на допрос, троекратно перекрестилась.

Вернулась с зажженной папиросой в руке. Ее следователь – тот, лысый.

– Он встретил меня так: фамилию слышал, вы – известная московская проститутка. Курить – хочешь? – Я, конечно, наотрез отказалась.

Носик шмыгнул, бровки поднялись, рот растянулся – заключение Нисы готово:

– А потом – где ж выдержать – папиросочку-то приняли?

– Что вы понимаете, недоносок некурящий.

– Папироса хороша? – спросила я.

– Божественна.

– А отношение к самой себе у вас тоже божественное?

– Вы, Муся, аж заалели от злости, это вам идет.

– Не отмахивайтесь, все достаточно серьезно.

– Черт со всем, вот начхала, и не в убытке.

– Молвь червя ползучего, если бы он заговорил. Человек начинается с достоинства. Есть на свете обстоятельства, когда надо крепко стоять у ворот его. Компрачикосы Кашкетины специально приставлены заниматься не только уничтожением, но и уродованием душ, а вы помогаете. В отношении себя самой.

– Кашкетин заявил, что мы в их глазах вещи, деревяшки, для меня же они в еще большей степени валежник, трухлявое гнилье над трясиной. Так с какой стати всякому дерьму, на которое и плюнуть не хочется,

жертвовать последней каплей доступной радости? – Она помахала огоньком папиросы,– кому сороковать?

В лагере вожделенная махорка доступна далеко не всем. Подходя к счастливцу с самокруткой, жаждущий произносит: "сорок" – не половину, а лишь сорок процентов оставь ему!

Ответила Зина:

– Принимая их поблажки, сдобренные гнусным поношением, вы приобщаете себя ко всей этой мерзости. Вот вам мнение курящей.

– Не слушайте, Лариса, так и надо поступать, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Сорокуйте мне, – протянула руку Зося.

Даже Зина поглядела на нее только с горечью: на ОЛПе с его голодом и кандеем Зося держалась при любом начальстве независимо. "Кум" и не пытался брать ее на приманку. Да, другой человек...

Лариса, красиво откинув голову (у нее все получалось красиво), затянулась с мучительным наслаждением и отдала окурок Зосе. О чем-то подумала, усмехнулась.

– Расписывание стягов целыми ночами, выступления на митингах, возня взахлеб с концертами для фабрик ... Это – сон. А когда проснулась... – Она опять как бы нехотя фыркнула.

– Проснулись – в каком качестве?

– У полена чаяние одно: не подходите близко ни с топором, ни со спичками – оставьте меня в покое.

– Это не качество, а отсутствие его.

– Не знаю. На тренировке велосипедистов впереди автомобиль идет. Где ж, Муся, тот моральный автомобиль, по которому должно равняться? Одни облыжно предают, другие, не согрешив, каются. Третьи, разобрав, кто виноват, а кто из них правый, упекают и тех, и других в лагерь. Остальные единогласно рукоплещут. Мир тюрем и тюремщиков. Так перед кем, скажите, мне ответ держать?

– Прежде всего – перед собой. Беды, если их переживешь, улягутся, горе может притупиться, но когда – сама пережжешь папиросками свою гордость, стыд и боль на всю жизнь при вас останутся.

– Бросьте вы, принципиальность во времена аутодафе смешна, как венчик-сияние над еле видной букашкой. Не видите, что вся гордыня ваша – писк мышонка под сапожищем. Да еще когда подошва наступившего на горло сапога – ого! – величиной в шестую часть земного шара.

Она замолчала, перебирая в уме доводы похлестче, и в злой уверенности закончила:

– Осведомленные и ученые в лагере (где, сами знаете, их довольно) соображают так: если всех из ссылок, этапов, пересыльных пунктов, тюрем и лагерей поставить гуськом "на протянутую руку", – цепочка размахнется на всю необъятную страну, от моря и до моря... А кто гонит, и сам большой, и прочий малый, – хоть на папироски-то их приспособить...

Непросто выдержать после такого заключения глаза и слова Зины:

– Берегитесь, Лариса, нечувствительный к оскорблениям завтра душой пропахнет помоями, под которые сегодня подставляет лицо и плечи.

– Что будет завтра, увидим, а сегодня – оставьте, Зиночка, дайте человеку без помех наплакаться.

В штрафной тюрьме на все запреты. Плакать – не возбраняется.

... Когда-нибудь вникнут поглубже в это "от моря и до моря", узнают, во сколько рядов тянулись людские цепи. Подытожат все звенья, живые и в подавляющем большинстве оставшиеся на путях.

Пробушевавшие войны знают число своих жертв из мирного населения. Но никогда не сумеют исчислить бесконечный поток обращений из тюрем и лагерей, писанных страдальцами-родителями в поисках затерявшихся по городам и весям своих малюток и подростков. Кто возьмется учесть этих сирот при живых (или неживых) отцах и матерях, сирот, что изгоями отовсюду дорастают до лагерей, гибнут физически и морально? Пересчитать изъеденные вшами до язв тельца и – что всего страшнее – искалеченные юные души...

Слабо надеялась – теперь меня оставят до конца в покое. Но – "покой нам только снится".

Заправа ходит по кабинету, Кашкетин сидит за протокольным бланком. Первый вопрос:

– Состояла в ВКП (б)?

– Да.

Он записывает ответ минуту, две, пять... Что он пишет? И дальше – мой односложный ответ – и длиннейшая запись. Накопилась пушистая куча листов. Он собрал их в стопку, придвинул ко мне последним листом вверх.

– Подписывайте.

– Сначала прочту.

– Нечего канителиться, все равно подпишите. Не будете? Ну, черт с вами, читайте.

Начала. Состояла в ВКП (б) – Да, я вступила в партию с целью вести там подрывную работу... заговор... для организации убийства... группа из... Имена, имена...

Дальше читать не стала.

– Не поставите подпись? Если так, – мотнул головой в сторону двери, – стойте до утра в коридоре! Там на холодку мозги расшевелятся, вспомните. Я пробуду здесь до подъема. И тогда не подпишите протокол,– посажу в карцер.

И прибавил зловеще:

– В будку, в м о й карцер.

– За что?

Взглянул на меня с откровенным издевательским цинизмом:

– За саботаж следствия.

VIII

Справа, дальше камеры № 1, открыли дверь – нужник, меньше метра в ширину, меньше двух в длину... Смрад, сгустившийся в твердые клубы, с такой силой ударил в лицо, что из горла вырвался стон и тело само дернулось назад. Но меня втолкнули дверью, заперли ее.

Огромная параша, почти заполненная до меня, без крышки, от нее вверх цепочка мокриц, они и по стенам, пол в человеческом навозе, в нем копошатся белые черви; не воздух, его нет, вонь держится в горле, не проходит, я задыхаюсь, я погибаю! Вдруг лампочка потухла тьма тьма сейчас наползут мокрицы черви набросятся жрать меня хочу крикнуть из горла только хрип они загрызут сейчас как труп нет воздуха нет света только черви мне страшно вот так умереть так мерзко умереть приближаются ползут прикладываю кисти рук к уголкам глаз – уберечь от червей глаза рот нос инстинктивно поворачиваюсь к двери...

... Что это, Господи, чудо? Ты творишь чудо спасения?.. На меня упал свет из широкой щели от петли до петли двери. Я припала к ней всем лицом, не снимая рук, отгораживаясь ими от всего, что за спиной. Слабым, слабым дуновением входит в меня воздух. Капля за каплей возвращается жизнь... Появился снова свет. Но он уже раньше вспыхнул во мне. Я начала снова дышать, я живу жизнью, покинувшей было меня жизнью, она снова входит в меня, дышу как будто извне входящими в меня думами, и я думаю о свершившемся Чуде, что приобщает к Высшему в непереносимые минуты, я уж будто иная, я приемлю, Господи, ниспосланное испытание, я остаюсь человеком. Тьма нужна была, чтобы осветило, осенило меня Чудо, я выдержу все, ты слышишь маму твою, мой мальчик? Пусть все страдания твои лягут на меня, я выдержу без единого крика, ты слышишь, мой мальчик?

И странно, странно, странно. Кажется, ощущаю внутри искорку счастья. Я выдержу, нет заброшенности. Чудо вовеки со мной, моя опора, моя надежда, мое преодоленное одиночество – я и Чудо осенившего меня Вечного Одухотворения, на всю жизнь.

Оборачиваюсь, крепко уплотняюсь в "жилом углу". Жмусь к двери. Со снизошедшим на меня покоем. В абсолютной тишине...

... Что это, кажется, я заснула. И проснулась – просто человеком, который будет жить... Меня сюда привели ночью, и она продолжается. Нет, что-то зашевелилось, по коридору шагают валенки. Принесли хлебца и кипяток. Началась карцерная жизнь. Наверное, через час я от нее очень устала."И живой я или мертвый, я и сам подчас не знаю." Гейне. Раз мысли – значит, живой. И чувство усталости – это тоже часть жизни.

Спасение и проклятие человека в том, что он ко всему, самому невозможному и отчаянному, может приспособиться. Страж ходит по коридору туда и обратно, туда и обратно, от волчка к волчку. Смотрит, чтоб все как велено; задерживается у моего волчка чуть дольше – не сплю ли, не закрыла ли глаз.

Спать в "моем карцере" не положено ни днем, ни ночью.

Только отойдет, ресницы мои опускаются, я уже не слышу мягких шагов валенок, ни мыслей, ни чувств, отдых. Но всем организмом ощущаю его приближение, веки сами поднимаются, видишь – порядок, иди, иди к выходной двери, я уже сплю, а как пойдешь обратно,– я по-звериному учую приближение, откину голову с вылупленными глазами, чтоб через минуту заснуть на минуту, другую. Как в лихорадке, и, как в лихорадке, не всегда все проходит удачно.

Настоящее спасение "бессонника" в том, что в трухлявой тюрьмишке штрафного – все трухлявое, все держится еле-еле, кое-как – в том числе и конвой. Под утро, когда начальство сладко почивает, – надзиратель на стуле тоже замирает. Вот тогда плотней усаживаешься в углу, голова склоняется, руки повисают вдоль тела и смежаются глаза – на час? Меньше, больше? Но ты знаешь, что без просыпа всего организма они широко раскроются навстречу отодвинутой заслонке волчка, когда надзиратель начнет свои туда и обратно...

Я думаю, что потому и вызывают к следователю из камер примерно через час-полтора после отбоя, когда ты только что крепко заснул и при входе в кабинет еще не все извилины в твоем мозгу проснулись, на то и расчет – вот когда почти в полусне заговорит, проговорится, попадется, подпишет...

Я сижу, проснулась – не проснулась. Но в голове уже движущийся хаос, сквозь туман продираются мысли, часто новые, небывалые впечатления, видение, но все навалом, в полном беспорядке, все равно – уже есть предчувствие писания...

Приводит меня в себя обычно кусочек моего хлеба и кружка огненного кипятка. Я не тороплюсь. Бережно, без лишней капли, наливаю немного кипятка на лежащий на ладони краешек рубашки. Это – мое умывание – утром сначала лица, потом рук, в течение дня – тщательное вытирание каждого пальца в отдельности. Теперь – завтрак: прицеливаюсь, с какой стороны лучше отломить хлебца,– липкого, колючего и самого вкусного, что едала в жизни. И запиваю кипяточком.

Ну вот, теперь уже отряхнулась, поправила бушлат, пригладила ладонями волосы. Сажусь поудобней и начинаю "писать" – все, что нахлынуло со сна. Приходят на ум строфы поэта, вызывают ассоциации, мысли, мысли приводят на новые тропинки, зацепляются за ветки деревьев, выводят на дорогу воспоминаний, догадок, заключений. – Уже начинается "правка", литературная обработка, с новым видением и увлеченностью. Этого иногда хватает до вечера. – А потом маешься, снова слышишь туда и обратно, глаза состязаются с валенками – до ночного вызова к следователю.

Сегодня вспоминала, как на ОЛПе сидела в карцере. Смотрела в щелку на человека, притащившего, впрягшись в них, тяжелые сани с кладью,– и тоскливо ему завидовала: свободно движется, кругом воздух, пространство, сейчас в бараке пообедает горячей баландой с соленой треской и хлебушком, а потом, Господи, погреется у печки. А ты тут мерзни – тоскуй в конуре... За что? Ну вот, примерно, скоро праздники, на-

чальству ОЛПа должно проявить активность, распорядительность. Если держишь себя с достоинством, ты – человек подозрительный... Вспоминаю о кандее, покачивая головой: не быть бы суетной, не ждать каких-то перемен, ибо – *все последующее хуже предыдущего.*

Из лагеря с его кандеем взяли в этап. Прежде чем заметить спуск, ощутили всю остроту его шипов: материли, нарочито не скрывая, что ведут на смерть, унижали, валяли по грязным полам случайных клоповников-ночевок, пытали жаждой, издевались. Вели-вели, везли-везли, да и доставили сорок человек в недоброй славы желтую тюрьму. Большинство туда и спустили, они тщат себя надеждой снова вернуться к своим, в свой, так сказать, родной лагерь, к каменоломням и лесоповалу. Потому что другие полетели от пинка еще ниже.

В ограде желтой тюрьмы есть калитка, если не на тот свет, то во всяком случае – из этого. Все здесь трухлявое, почерневшее, в холодных камерах без нар прямо на голом полу едят, тут же спят без постелей – фантомы. Прогулок – никаких, начальство и прокурор при обходах идут мимо полусгнившего корпуса. Там – никто. Прихожая смерти. Приговор не понадобится, так, промежуточные мертвяки.

В камере № 1 нас было семеро. (Как повешенных у Андреева.) Все же водили на оправку, под ржавым рукомойником можно было умыть, хоть и без мыла, руки, лицо. Немудрящая, но горячая баланда...

Меня отринули и оттуда. В "особый карцер".

Сейчас, похоже, поздно, ужин счастливцам давно роздан. Я очень занята. Взнуздываю память – это моя работа. Вот он, наш людской, арестантский тридцать седьмой. Всмотреться, вдуматься, понять факты и пружины. И о том, что и как было, пишу вам, пишу, час за часом...

– Встать!

Значит, голова все-таки упала на плечо и опустились веки. Встать, а прислоняться запрет. Стоять между стенок. Сколько заблагорассудится надзирателю.

Согласна стоять, пока не оплывут ноги и не зайдется сердце, упасть – только бы не слышать этого раздирающего тишину лязганья, звука выбираемого из связки ключа. У каждой камеры – особый. Каждый ключ как овчарка с разинутой пастью на толстой цепи. Зазвенело, заскрипело. На чью дверь бросится сейчас пес? За всеми дверями, вцепившись в пол, забыв в этот миг все на свете, судорожно, животно надеются – авось, его, а не меня...

Ключ зубом вонзается в висячий замок моей двери.

Жду в коридоре.

Инстинкт жизни заложен в человеке глубоко и прочно. Но кашкетинский кабинет перерос для меня в самый страх смерти. Это – сжимающий ледяными пальцами ужас ожидания физических мук, выжатой ими глупой, страшной клеветы на кого придется, кому и не снится, что кто-то, обезумевший от боли, возжигает для него костер.

Сейчас весь смысл существования, вся цель его сводится к последнему напряжению: сконцентрировать волю, довести до предела внутреннее сопротивление, не обронить под палками случайного, попавшего на язык или втемяшенного тебе имени. Ведь я тогда в карцере уже дрогнула... Хотела закричать. – А как бы потом?

Сохранить человечье вертикальное положение. Не пасть по-скотски на четвереньки. Смогу ли?

Кант: "Можешь, потому что должен".

Дядя Кант, ты не бывал в "моем карцере" у Кашкетина.

... Сколько же ждать в коридоре? – Стою, холодно, меня трясет, я боюсь, боюсь не Кашкетина, не жизни, не смерти, я боюсь, что под пытками перестану быть собой, не буду стоить ни жизни, ни смерти... Господи, хоть бы она поскорей!..

Еще сутки.

Вокруг не тишина, а сдавленное безмолвие. Ледяная пустыня одиночества.

Одна. Как же так – одна?

Мне ведомо счастье не вздохом сладкого, но неопределенного воспоминания о нем, но как ни с чем не сравнимый трепет взлета. Нам выпало бороться за море обездоленных, за всякую теплую человеческую масть, за розово-желтых, красных, коричневых. За всех. Когда человек чувствует, сознает, что вместе с друзьями делает самое насущное, самое нужное в мире, – эта полнота и есть счастье. Вместе с друзьями "вышел на бой святой и правый".

Все расцветало, неслось, почти летело, и я, малая песчинка от того, что мала и легка, особенно захватывающе ощущала полет. Иду в рядах ЧОНа, субботника, Красной Гвардии, демонстрации, мои плечи касаются других плеч – верных, надежных; передо мной ряды, ведущие нас вперед, позади – сливающийся с неслышным моим мерный топот тысяч. И все это обще, цельно, могучая гора с единым горячим внутренним дыханием. Победителей. Борцов.

И опять пошли творяне,
Замениви Д на Т,
Ладомиры, соборяне,
С трудомиром на шесте.

Так почувствовал Велемир Хлебников, великий поэт.

Надо побывать в карцере, "моем карцере", чтоб убедиться – одиночество как умозрительное понятие, даже поэтическая фигура – просто чепуха. Одиночество по существу – это отсутствие сопричастности живым душам, от чего задыхаешься так же, как без воздуха.

... Ледяное одиночество в пещере.

С пещеры началось людское жилье. Жили родом, связи были только кровные. Сейчас мне кажется, вся цель культуры, прогресса – создание о б щ е с т в а, скрепленного изнутри по-другому. Взращивался мир идей,

искусства, прогрессировали нормы этики, понятия о чести. Они стали общими, основами общества. Как жизнь физического организма поддерживает обмен веществ, так жизнь человека питает обмен мыслями и круговорот тепла ладоней. – Из моей норы я смотрю на необозримое пространство, охваченное лагерями, и вижу: *опаска, недоверие* – ржа, подточившая тут все скрепы. Они распались.

Самое время утратило цельность и непрерывность. У каждого было прошлое, из него вытекало настоящее, и, главное – все были полны будущим. – Сейчас прошлое кажется сном ("а был ли мальчик, может, и мальчика никакого не было" – Горький), о будущем, даже о завтрашнем дне, известно только то, что все последующее хуже предыдущего, а доживешь ли до завтра, – проблематично. Значит, остается только сегодня, только этот момент, такой мгновенный, что вмещаешься в него только ты сам.

Внутренняя пещера. Принципиальность была вне понятий пещерного жителя с дубинкой. У дикаря нет ни высоких чувств, ни сознания. Одни инстинкты звериные, самый сильный – жить, выжить.

Когда зловещий ключ выхватывает кого-то из камеры, неизвестно зачем, остальные невольно облегченно переводят дыхание – не я... Нас с детства учили по прописи: лень – мать всех пороков. Ну, а страх – их отец. Страх, подозрительность загоняют человека в самого себя. Родят худшее: свою хату – с края, подальше... Внутреннее мещанство, холуйство – рукой подать до предательства.

Было тут очень много таких, которые отвергали пещерный лозунг: "жить, жить во что бы то ни стало". В силу природы своей они не могли стремиться к тому, чтобы хоть *как-нибудь*, да выжить. Их целью было другое: *по-человечески выстоять*.

... В промерзшей т у н д р е лежат растерзанные тела тех, что остались верны себе до конца...

Помните, конечно, школьный опыт с ботавскими слезками? Достаточно трещины, и твердая сплошная стеклянная кругляшка, лишь с каплей пустоты внутри, не разламывается, а рассыпается на песчинки.

По людским массам оставшихся в живых лагерников, по человеку глубоким порезом прошла длинная щель старой каменоломни – могила расстрелянных Кашкетиным.

И началось "усыхание леса" – распад, вылезшие инстинкты. Сафаровщина.

Уже во второй раз доставляют меня из карцера в прихожую-ожидалку еще до приезда следователя. Накануне ждала вроде 15-20 минут, а сегодня стою в обычном углу что-то уж очень долго.

Шаги, шум, и мимо меня крупно прошагал весь запорошенный снегом Кашкетин. На ходу он кричал смиренно поспевавшим за ним начальнику тюрьмы с заместителем и Смердяковым:

– Черт знает что! По дороге не продраться, сверху кроет, снизу на метр намело. Лошадь из сил выбивалась, тебя бы в оглобли вместо нее.

Не мог, что ли, своих вонючих вывести траншею протопать? Пообещал бы этой мрази, кто отличится, большую пайку – башкой пробили бы. Полтора часа добирался, вам плевать на мое время.

Все трое заторопились:

– Я заставлю... Завтра с утра... Сейчас можно, удвоим конвой...– На шум из кабинетов вышли Заправа и лысый. Переминаясь, молчали.

– А вы тут, не могли подсказать? Если глаза не вылезли, гляньте, что за окном делается?! – Он рванулся за поворот коридора, очевидно, к окну, за ним кинулись остальные.

(... Сюда его послало всезнающее Око, и он послушно в путь потек. Несокрушима и безгранична власть Ока.

Власть пленяет соблазнами, власть – зараза; если в вышине ослепительно рдеет корона, то почему бы и на каждой ведущей ступени не воздвигнуть и для себя – по иерархии, повыше – побольше – непререкаемый для нижестоящих свой трон?..

... Сколько же испытаний падает на низы, на несущий на себе всю пирамиду – плотный фундамент государственных рабов – с молоду до смерти дышащих атмосферой беспрекословной, натруженной, напряженной "верности партии и государству... рабочих"...)

Кашкетин возвращается к кабинету. Встряхивая шапку, обметал валенки, в центре окружавшего раболепия куражился, высокомерно бросал слова. Подлетевший Смердяков помог снять полушубок, тряс его чуть не над моей головой, не обращая на то ни малейшего внимания, обдавая льдинками и снегом. Уполномоченный из центра на минуту остановил на мне свой взгляд. Глаза его запомнились.

Кашкетин, входя, вживаясь в роль, чуть прищурясь (под другие маленькие рысьи глазки), уже не говорил, а произносил:

– Первое – времени ценить не умеете, второе – есть случай использовать навозную кучу бездельников – почему не сделал?..

Вошел к себе.

(Презрение, властность, поучительство: первое... второе... Вся страна по радио не раз слышала характерный акцент этих непременных слов, произносимых с высокой трибуны маленьким щуплым человеком. Здесь – клоунский переигрыш коронного номера, цирковая интермедия. Переигрыш, подражание, шутовски глупо. И страшно. Потому что в широком кругу смертоносных полномочий ему здесь не у кого ни в чем испрашивать согласия, не надо. Здесь он ощутил свою силушку. Следственный корпус, желтая тюрьма со службами, трухлявой полумертвецкой, карцерами, вышками и оградами колючего хозяйства – его власть, его Кремль.

... У Толстого в "Хаджи-Мурате" кавказский наместник Воронцов не представлял себе жизни без власти. И направлял весь тонкий, приятный ум свой на поддерживание этой своей власти.

Тут что-то совсем другое, по природе другое. Во взгляде уполномоченного из Москвы сквозило не торжество, не сознательная уверенность, но какое-то наркотическое самоотравление, темное и срамное, развратное упоение властью.

В своем масштабе...)

Кашкетин вышел из кабинета, обратился к конвоиру:

– Давай сюда того, вчерашнего. А бабу тащи обратно в сортир.

... Посадили человека в сортир. Дышать смрадом, вонью многие сутки. С бессонными открытыми глазами, чтоб все время, круглосуточно, смотрел и видел только лужи мочи, растоптанные кучи щевелящегося от червей дерьма, цепки мокриц. – Может, когда-нибудь сфотографируют в цвете напоказ немыслимые пытки. "Моего карцера" никогда не покажут. Потому что не только жестоко – это постыдно.

От мерзости уместно впасть в отчаяние. Но до чего же к тому же и нелепо все. Почти смешно. До трагизма смешно.

Эх, поговорить бы, услышать живое слово, погреться...

От стенок несет холодом. Я прислонилась к деревянной двери. В коридоре в это время случился начальник тюрьмы, и я услышала в глазок:

– В будку, назад! – категорическим тоном, вразумившим настолько, что мне вдруг открылся изначальный смысл слов: не тянись головой к солнцу, опустись назад – на зад!

Вот я говорю с вами, друг мой, думаю, моя жизнь будто несется вровень с вашей, но тюремщик осаживает: на зад, на цепь, в собачью будку.

... В лагере мы жили в конюшне, на другой ее половине – соседи-лошади. Возили дрова, впрягаясь вместо волов. Слышим – "твое дело телячье" – все время. Ложимся с курами, встаем с петухами. Сенокос когда, возимся в тине глубокого болота, как лягушки. Сплавляем лес и "купаемся" с бревен по-рыбьи. Набивают нас на двух- и трехъярусные нары, будто копчушек в ящики. (А кругом такое свинство...)

Что же осталось человеческого? Вы бы, конечно, ответили:

"с л о в о",

ибо "от мысли, закрепленной в слове, рождался весь прогресс", "человек творил свой язык, но в еще большей мере слово создавало – человека"...

На ОЛПе не часто, но можно было услышать полновесные фразы. Стихи наших поэтов переливаются красивейшими в мире полярными зорями. При общей лагерной "некомплектности" нередко звучат умные, находчивые рабочие предложения (которые, впрочем, чаще всего отвергают).

Не отвергают никогда – наушничанья. Донос действенен, твой ответ – нисколько. А кто вылиняет в доносчика – работа полегче, пайка повесомей, место у окошка...

Сексот множится, сексот бдит. Одно слово может тебя заарканить. От сказанного, уже вылетевшего слова человеку делается страшно. Он спешит "исправить" его другим, другими, путается, страх все нарастает. Как тут заключенному, и подчищающему отхожие места, и в тепле переписывающему "характеристики", и таскающему, впрягшись в сани, дрова, как всей лагерной скотине, Божьим пасынкам в бушлатах, не забояться прежде всего человеческой речи, своей и чужой? Как не приучиться обходить речевые западни? Ты – покороче...

Особенно опасны прилагательные. Для глагола мало применения. С существительными проще, они, как баранки на веревочке, предусмотрены и по форме, и по весу. А в общем, покороче: отступления от стандарта караются.

Внутри зоны бывают собрания: зэки обязаны выслушивать начальство.

Эти речи – ямы, свалки явной лжи, фальши, бесстыдного цинизма и звериной жестокости. К ним необходимо прислушаться, не заметишь себе – попадешься (тогда носи невидимое тавро вины до самой смерти), и зэки понемногу проникаются, пропитываются смердящими понятиями, они становятся частью натуры.

Слово – в бушлате. Казенное. – Кое-кто, порядочное количество, становится как бы кондуктором, вбирающим все ходко-благополучное. Усвоив "дежурную" фразу, держатся с ней на ОЛПе, как солдат на постое в хате.

Но вот счастливо доведется в сторонке от сексотов "бесцензурно" обменяться думами с себе подобными, и оказывается: реакция на окружающее, выводы, сравнения, ассоциации, наши грехи и наше бедное ловкачество – у всех весьма схожи. И выражения почти одинаковы. Различимость людей, их мыслей стирает вереница повторяющих себя тяжелых, монотонных дней. Время попало в зону, застряло в колючей проволоке.

Языковые средства иссякли. Слова наши пуганые, зажатые, слова-калеки. Они не живут, а, как птахи малые, спасаются от коршуна. Словарь от страха съежился, с ним и все остальное.

У обезьян есть свой язык, очень бедный, конечно. – Количество слов в лагере также доведено до минимума. Тяжкий труд – "та" работка, справедливый, не дающий обворовывать заключенных начальник (такие бывают) – "тот" начальник, а если зверюга (что значительно чаще), покачав головой, скажут – "тот начальничек" и так далее. – На распиловке "пиляют", "да-вай, да-вай", нарядчик торопит с выходом: "давай!", равняют строй: "давай в ногу". – Повезло на посильную работу – "перекантуюсь тут", долго ешь – "чего кантуешься над баландой", плохо сделал – "не работа, а кант"... Еще шире охват таких слов, как "туфта", "закосить" и так далее.

Обезьяний язык.

Он составился из словесных звуков, необходимых для узкого круга твоего дня – тянуть рабочую лямку да с оглядкой грешить помаленьку: сговорившись, уволочь в свой штабель давно сданное бревно, схитрить лишнюю миску полбы, изловчить вторую, не положенную пару портянок. Начальники наши поступают точно так же (пообъемней, конечно), – со склада, из мастерских само в руку идет, а бухгалтерия – подвластные зэка.

И мир становится маленьким, серым.

Жизнь, как рак, пятится назад.

Не последняя сила обратной тяги в том, что слово-творец и слово-лакей, слово-предатель – перепутались ценностью, цветом, в мешанине алмазы незаметно опускаются на дно, а словесная мелочь, шелуха гарцуют по-

верху. Умаляются люди. Сначала – опасно говорить, а потом – и думать страшно...

Выходит, профессор, язык не только творит, но,теряясь, примитивизируясь, может и разрушать человека.

(... В моем углу комочек-амеба. Ее ядра – глаза голодного песика, они излучают всем понятные слова: дяденька, дай покушать!..)

А я все-таки ночью поговорила. На гоголевские темы.

Стояла в ожидалке (конец коридора). Рядом со мной, тоже носом в стенку, поставили еще зэка из одного со мной этапа – случай небывалый. Но это был Сафаров. Лицо у него – цвета растоптанной глины, на лбу пластырь, под заплывшим глазом – синяк во всю щеку. Конвоир предусмотрительно скрылся, Сафаров тотчас стал шептать: "Перед несущейся тройкой, нужно понять – сторонись". Я обернула к оратору затылок. А потом отчетливо произнесла в мою стену: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"Ответный шепот, задохнувшись в кашле,иссяк. Обращение к классике окончилось.

Имя Гоголя встряхнуло в памяти время, проведенное мною в ссылке в одном из районов Средней Азии, благоуханном, цветущем, но таком глухом, что густая, запутанная сеть улочек-переулков этого бывшего волостного центра не несла никаких названий. Стали именовать. "Зачем даешь имена, никому в кишлаках не известные – Либкнехт, Люксембург, Мархлевский?.. Почему нет, например, улиц Файзулы Ходжаева и Ахун Бабаева?"

Оба в силе и славе. Председатель райсовета всегда готов уважить высшее начальство. Но Джелал чешет карандашом под тюбетейкой: "Моя гляди вперед: правый уклон, левый – беда! Луначарский помрел, Либкнехт помрел и Володарский – беда йок!"

Скромный райпред оказался пророком. Процветающим. Его предвидение через год осуществилось до конца... Товарищ Гоголь, вот как реализовалась настоящая польза мертвых душ!

Заяц не трус. Заяц – "бдительный", он по-джалаловски "гляди вперед" и хрустит сочной капусткой.

Дорогой друг. Воспоминания, ассоциации, мысли роятся и разлетаются, будто искры на ветру, когда ворошат полузатухший костер. Вот мелькнуло высказывание старого Гете: ... к преклонным годам человек исполняется мудрости, только тогда полностью раскрывается его духовная мощь. Богатство духа, взращенное целой жизнью, не должно пропасть. И если вконец обветшавшая оболочка сдает, не может удержать его, судьба должна позаботиться о какой-то другой, новой. (Конечно, у Гете все выражено короче, ярче .)

Вспомнилось такое не в заботах о бессмертии души, но потому что с ночи стоит передо мной "оболочка" с пластырем на лбу, запухшим глазом, со вздутой синей щекой. Бывалого подпольщика, образованного и талантливого, редактора больших газет, возглавлявшего ответственнейшие партийные организации. "Богатство духа, взращенное целой жиз-

нью"; выпито страхом. Его топчут, а он продолжает провоцировать, доносить...

Холодный, в колючем инее ток страха вонзается в человека, проникает в окружающих его, течет без остановки, заражая все вокруг.

Лишайник душит все новые и новые деревья, опали желтые сморщенные листья, деревья, сучья оголились. Лес усыхает.

Люди утрачивают свой хлорофилл, внутренний жар и веру. Миллионы людей, целые леса. Идет одичание этих лесов, заражаемых всепроникающим лишайником – страхом.

Был на свете растущий, мужавший фронтовой политработник. С винтовкой возглавлявший безнадежные атаки. Сафаров. Полный отваги, достоинства. "Честь эту пытка отняла". Насовсем, навсегда. Нет человека. Пустая оболочка.

... У йогов есть, вроде, такая молитва: "Я отрицаю власть людей, вещей, обстоятельств – дурно, порочно влиять на меня. Я – человек, я утверждаю свою реальность, силу, господство над всем этим".

Честность и бесстрашие Кости – никакой не подвиг, а само собой разумеющиеся составные текущей жизни. Там, у портретов, он возвышался над теми, что шли на него. Они не посмеют сделать его карликом за чечевичную похлебку.

Экскурс в патриаршее меню, наяву или во сне, уже наказан. Стою. С некоторой вибрацией.

(Спать, спать... где угодно, хоть в теплом асфальтовом котле, как беспризорник, хоть в ладье у Харона...)

Воскресенье

Нет хождения стража от волчка к волчку: начальство отсутствует. – Двое урок, смахнув со стен и лопатой собравши в парашу все с пола, вынесли на шесте тяжелый ушат. (Дежурный надзиратель Чудак напутствовал: "Мой, скреби – дикалоном чтоб пахло".) Третий урка моет кипятком с мылом пол, дверь во время действа – настежь. Блаженствую возле двери, в коридоре. Тихонько попросила поломоя: пожалуйста, подольше. Ответил тоже шепотом:

– Не могу: дух чижолый.

Сидеть мне, пока пол высохнет, на круглой фанере из стула, Чудак вышиб из своего, одолжил, а потом подарил: "во, парашку накрыть". Он по-воскресному под хмельком, чихнул на табурете и глаз не открыл. – Будь здоров, добрый человек!

Друг мой.

Жизнь прекрасна: удалось богато поспать, уткнувшись носом в мою спасительную щель в двери. И позавтракать – большим! – хлебом с блестящим белым сахаром.

Ночью меня выводили на допрос. Средь тишины из камеры № 1 раздался стук в дверь. Это было началом удивительно удачно выполненной операции, в результате которой –

– у моих ног очутился чей-то вырванный с корнем карман с горбушкой и сахаром! – Такое может удаться только раз. – Отказывали себе в единственном питательном продукте, не спали, бдили, прислушиваясь, рисковали – еще как! То, что они проделали: шумели, пререкались с конвоем, налегли на чуть приоткрытую дверь и будто вывалились из нее – что-то похожее на "внутренний тюремный бунт" – у Кашкетина! Тут пахло уже не карцером. – Когда смерть становится в порядок всех дней, и виселицы выползают на всех перекрестках, на каждом углу, и воздух дышит ядом, и все зависит от случая, от слова, от минуты,– человек, несчастный комочек страха и боли... взял, да отважился, и победил!

(Тогда донесся до меня – до соседних камер, конечно, тоже – довольно громкий шепот Нисы: "Ты выпивши, не мы одни, весь коридор, небось, заметил это, вот и путаешь..." После чего успокоилась за них вполне – уполномоченного из Москвы страшимся не только мы...)

Остальное тоже неплохо: стояла, грозили, поносили, ничего не подписала. Чувствую себя в форме. И не хочу быть одна. Я иду к вам.

... Сквозь слои, что надымило время, вижу умную, с иголочкой улыбку на крупном очкастом лице, агрессивные пряди отброшенных прямых волос... Вы сидите за большим столом. И, как нередко бывало, в утилитарно-педагогических целях поносите меня. Укалываете даже (сейчас, у параши, это звучит особенно выразительно), называя "светской дамой".

Профессор дорогой! – Если победа над "моим карцером" останется за мной, я буду обязана ею вам, моему наставнику, богоданному корреспонденту: эпистолярная стихия захватила меня. Ток жизни включен снова, нудит говорить, высказываться.

Но в письмах моих, знаю, он "прыгает по кочкам". И меня не оставляет ощущение, что для вас, такого умницы, многое странно, внезапно. – Темно. Письма-то идут из "НОЧИ". Выходит, требуется объяснение.

Вы привыкли к "историческому подходу". Ну что ж, время есть, возьмем назад. Одеваюсь в броню объективности, постараюсь кое-что рассказать толково, даже поучительно вам, ничего не знающему, не понимающему. О том, что практически посильно усвоили мы. Так вот.

Лагерь для политзаключенных (статья УК 58) поначалу был только местом строгой изоляции, с распорядком по часам. На всех лагерников, как на заключенных, полагался определенный одинаковый паек. Конечно, у нормального человека есть здоровая потребность в труде. В те начальные времена имелась библиотека, разрешение иметь при себе сколько угодно книг и неограниченно получать их почтой с воли. Можно было заниматься.

У нас книги – одно из многочисленных табу. Но не делайте заключения, что мы весьма охотно выполняем обязательную работу.

Из глаз, немногих слов, всех чувств лагерника смотрит г о л о д. Прибавляется и кое-что другое.

Лесоповал (или каменоломни, покос и т. д.) – звено сплошной цепи режима: подъем, "шаг в сторону, стреляю!", работа, баланда, поверка. Лес – 10 часов в сутки, пеший ход по снегу туда и обратно – иногда за 5-6 километров – из твоего времени, за счет "отдыха".

10-12 часов, помноженные на недели, годы, десятилетия, – одно из слагаемых твоего срока. Работа – часть наказания. Не так просто одеть на себя ярмо...

И все же – главное в другом. – Затопить печку или злоумышленно поджечь стог – движения одни и те же. Но всякому понятно, что это совсем не одно и то же. Решает *направленность* усилий, работы.

Мы валим лес, расчищаем площадки, огораживаем их колючими зонами, чтоб расширить или построить новые тюрьмы, лагеря. Для себя и для тех, кто за нами. – Что же удивительного, что работа на "объектах" не идет, а тянется, обходится в сверхдорого?

И нашелся человек, тоже заключенный, осужденный по бытовой статье, с несомненной организаторской смекалкой. В рассуждении – как бы выскочить – написал в Москву докладную записку, где привел расчеты и членораздельно заявил, что содержание в лагерях "экономнее", чем в тюрьмах. Создание сети трудлагерей позволит увеличить добычу древесины, угля, нефти, медной руды, золота, развернуть строительство каналов и пр. – на Севере, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, куда завербовать "рабсилу с воли" не всегда удается. Главная задача – повысить производительность труда лагерников, для чего им был предложен ряд мероприятий. Из лагеря он выскочил даже с чином и орденом, предложенные мероприятия были приняты.

В основном их было три.

ПЕРВОЕ. Группа лагерников выделяется на привилегированное положение. Особый паек получили: коменданты и охрана из заключенных, нарядчики, воспитатели и устроители быта (дармоеды из КВЧ и КБЧ), бригадиры, мастера, заместители начальника по труду (по-лагерному "трудилы"), врачи и лекпомы ("лепилы"), часть конторщиков, завпрачечной, завинструменталкой, начальники подсобных мастерских и т. д. Повара, парикмахеры, каптеры, экспедиторы, завскладами заботились сами о себе, о своих марусях, о людях, которые пригодятся (смотри выше) и об их марусях. (Конечно, все – за счет серой массы заключенных.)

Эта группа не ютится со всеми на досках нар. Они живут по двое-трое в кабинках. Крохотных каморках в тех же бараках, но, помилуйте, – отдельное помещение! Всем этим надо дорожить, удержаться, ладить с начальством. И подлаживаться тоже.

ВТОРОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ОСНОВНОЕ: бригады и знаменитые котлы.

Вводятся три котла, три категории питания в зависимости от выработки. Получает тот или иной котел *бригада в целом* – попробуй кто-нибудь внутри нее отлынивать от работы! Или – кровь из носа – вкалывай, или иди ты на ... 250 грамм хлеба. И – крышка тебе. Если не сработал положенного, питаясь относительно нормально, где же сделать то же самое голодному человеку? А потом – накопившему голод многих дней?

Пробавляется такой бедолага недолго – то полы у комендантов или каптеров помоет, то в слобосилке, то побюллетенит пару дней. (Но слабосилка и бюллетени численно строго ограничены.) Находятся – в скудных лагерных помойках шарят. Но гордые и негордые – доходят...

Сама основа принятых мероприятий должна была привести и привела к правилу – приказу: давай %% или поскорей подыхай. Относилось это, конечно, прежде всего к людям в прошлом нефизического труда.

ТРЕТЬЕ. Лагерная норма выработки – какая заблагорассудится заместителю начальника по труду. Гвоздь мероприятия в том, что "трудилы" назначаются из заключенных, но почти всегда из *бывших работников органов безопасности*. Этим штрафникам надо во что бы то ни стало оправдаться, "показать себя на деле". Сами понимаете, излишним либерализмом они не страдают, смыкаясь фактически с лагерной администрацией.

С "реформой" образовались целые равновеликие и разноцветные пласты материального благополучия и неблагополучия. Работы разные: и повременные (для счастливцев), и нормированные. Такие, где норма "схватывается" сравнительно легче, и другие, что выполнить, скажем, женщинам на лесоповале и раскорчевке – невозможно. Одно дело – чистеньким пожарником, в форменном поясе, "дежурить" по ОЛПу, совсем другое – косить в болоте по колено в гнилой жиже, давать норму в окружении туч комаров и мошкары. Раньше работали, как сможется, и все получали сходный стол. Теперь хлебный паек (основное питание) колеблется от 1,2 килограмма до 250-300 грамм.

Все политические (статья 58 УК) объявлены по лагерям "социально чуждым элементом". Социально близкими, преданными оказались бытовики, те, что объедали народ по складам и столовым, и прочие казнокрады и мздоимцы. Начальственные посты, доступные заключенным, доверяются только им. За урками-ворами понадежней закреплены должности охраны из заключенных, пожарников, возчиков, иногда нарядчиков и комендантов. Осужденные же по самой пропащей статье – КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) работают на лесоповале, в каменоломнях, по снегоборьбе. Ими же в основном комплектуются передвижные бригады по прокладке в условиях вечной мерзлоты и буранов железной дороги. Приведенный с одной точки оттуда "раскулаченный", хороший мужик, рассказывая во время перевязки про "железку", заключил: "Почитай, под каждой шпалой по мертвяку лежит... больше из образованных".

Варвары во время наступлений впереди войска гнали безоружных пленных, заслоняясь ими от первых контрударов. Таким щитом-заслоном, принимающим на себя наибольшие трудности ледяного Заполярья, служат в лагере КРТД. На снегоборьбе в бураны, на лесоповале и тому подобных непосильных для них работах норм выполнить не могут. Дать качество – тем более.

Надо сказать, мало плодотворен труд не одних голодных рабочих, но и – главным образом! – тех, кто задает и работу, и весь тон. Талантли-

вость, умелость бесправного зэка – это проявление его наглости, оскорбление стоящего над ним вольного, да еще и заведомый подвох. На дельные, веские возражения заключенных против очевидной рутины, вредной глупости ответ один: ты это брось, за ломку инструкций по головке не погладят, ну, что я начальству скажу?.. Как же делу спориться, когда все стоит не на том – как лучше работать, но исключительно – как с начальством говорить-отговариваться?

Котла такие дискуссии не касаются. Котла ничего не касается.

На каждом объекте люди с бору да сосенки, во всем ни складу, ни ладу, при лагерной бестолковщине по полдня иногда простаивают из-за неподачи вовремя материала, инструментов – котла ничего не касается, котлу нужен поставленный процент.

Воры-урки в течение нескольких дней проявят кипучую деятельность, сдадут по две нормы, заработают славу, красную доску – потом лежат на нарах и под страхом ножа заставляют за счет работяг проставлять себе "перевыполнение".

И проставляют. Пошли приписки, кумовство, очковтирательство с таким размахом, что в пору было задуматься – а не домахнет ли зараза до Большой Земли? Инженеры часто затылки чесали: дорога, к примеру, далеко недостаточно загрунтована, а по нарядам шлака отсыпано вдвое больше, чем по проекту...

Что же в итоге дали котлы?

Многое. Физически сильные безусловно оказались в выигрыше. Они выиграли жизнь.

Но и все работать стали больше. Изо всех сил, через силу – никуда не денешься. Умирать стали больше, тоже – никуда не денешься. (Надо помнить, что в лагерь попадали люди, уже измотанные "трудным" следствием и в особенности многомесячным этапом вместе с бандитами, избивавшими, обиравшими "контриков".) Но, конечно, работа в целом пошла поживее и несколько менее убыточно. Голод не тетка, по старинной поговорке.

Вы спросите – как же так, нормы не выдюжить, на штрафной пайке (не более 300 грамм) не выдержать – но не сплошной же там у вас мор?

Мор – порядочный. Но действительно не сплошной. Все дело стало в бригадире, выросшем в заметнейшую фигуру.

Поясню простейшим примером. – За рабочую неделю, за шесть дней, надо, понятно, дать шестьсот процентов выработки. При всей ловкости, "помощи предков" и прочем женщина на лесоповале может представить для обмера ежесуточно процентов 35 полагающейся нормы, или 210 % за шестидневку. Закрывая недельный наряд, опытный бригадир проставит дневную выработку за пять дней по 20 % (меньше – карцер), то есть 100 %. Оставшиеся 110 % – явное перевыполнение – отнесет к субботе. А так как в воскресенье хлеб выдается по выработке последнего рабочего дня недели, – лесоруб два раза в неделю получит по 1200 грамм хлеба, что в среднем дает около 560 грамм в сутки. И выживает. – На снеготборьбе может быть различная толща снега (проверить по закрытии наря-

да, через неделю почти, трудновато). В каменоломне выручает расстояние откидки, изобретается "углубление", "вскрыша" и т. д. "Ловить" нелегко, да и никто не захочет утруждать себя без нужды. Документ подписан – ну и порядок... Вот что такое сейчас бригадир.

Система лагерей стала как бы сама себя расширяющей. По железной дороге, баржами, пешком прибывают сонмы заключенных. Чтобы занять их, специально иногда затевались новые "объекты" (например, железная дорога на Игарку, с великим трудом и жертвами до половины построенная, а затем заброшенная за практической ненадобностью). Эта, например, начавшаяся прокладка в мерзлоте тундры вскоре потребовала организации ряда мастерских и целых подсобных цехов – дана была заявка на дополнительную рабсилу (что расшифровывалось в лагере как "сила рабов") и получали ее в виде поступлений новых этапов. Плановый отдел ГУЛага (Главное управление лагерей НКВД) намечал на грядущий год (или пятилетку) новые строительства (на основании планов министерства) и количества людей, т. е. заключенных, для их осуществления. Чтоб не ошибиться, учитывалась и "вероятная убыль", сведения о смертности брались из донесений (обычно заниженных, чтоб не попало) "вторых отделов" (кадры) лагерей. Планирование и выкладки повели к "разверстке" по городам, областям, районам процента предполагаемых у них "скрытых врагов народа". – Попробуй не "выловить" преподанного процента!

Автор трех мероприятий оказался человеком дела. Он высчитал и доказал, что ни соленой трески, ни полбы и ни хлеба больше, чем отпускалось до реформы на одного заключенного, не понадобится. Так и получилось: то же самое количество распределяется уже совсем по-другому. Усиленное и улучшенное питание выделяется специалистам на производстве (и тем, кого за взятку из посылки к ним отнесут). Кстати сказать, вопрос о спецах разрешается просто, без волокиты. В каких квалифицированных кадрах имеется нужда, "второй отдел" информирует центр. Там выясняется, что такие-то, такие-то специалисты (как раз соответствующего профиля) "замешаны в поддержке экономической контрреволюции", только по недогляду еще на воле. Через небольшой промежуток времени вредителям (ст. 58 пункт 7) предоставляется возможность "оправдаться", проявить себя на производстве в условиях лагеря.

Где же работать данному зэка с 58-й – главная масса – (особенно КРТД), на тяжелых или на средних работах (что часто равносильно – жить или не жить), решается главным образом в зависимости от того, как он думает, что говорит. Тут уж прямо необходимы агенты-осведомители, "секретные сотрудники". Их главная задача не только доносы, но и рассеивание деморализующего страха: поговаривать об угрозах – удлинения срока, превращения тебя, живого, в плакатное изображение голода, ткнуть в то, что вся лагерная масса – только рабочий скот: не сможешь работать – уничтожат голодом (или просто забьют, как заразную скотину). – Без сексотов, без подслушивания и подглядывания, без провока-

ционно-наводящих разговоров ОЛПа теперь не бывает. Сексот – органическая часть лагеря.

Провокатор-доносчик и Хлебная пайка, что на глазах подрастает или тает, – два кита, на них стоит земля "Ночи".

Мне холодно. Мне душно.

Есть тут один надзиратель с голым сморщенным лицом не то старика, не то младенца. Смеется как-то не по-взрослому, букву "с" выговаривает как "ш". Сморчок всегда улыбается. А ну-ка, вштать! Полумертвый от бессоницы и голода человек, пошатнувшись, поднимается. Сморчок смотрит, улыбается, как ребенок, играющий в солдатики. – Сегодня хлеб, драгоценный кусок хлеба, не донес до моей руки, уронил в грязь затоптанного пола. И залился ребячьим смехом.

Я ногой оттолкнула рассыпавшийся ломоть. Сморчок, тоже ногой, поддал куски ко мне. Подняв их с пола, я забросила каждый отдельно подальше в коридор. Да так напоследок ловко размахнулась, что толкнула кружку в его руке. Почти весь кипяток пролился...

Сморчок еще с полчаса заглянет в глазок – и я слышу тихий счастливый смех.

Голод, бессонье, с позавчера ничего не ела, почти не пила. Дышать нечем. Все, мой мальчик...

Сколько-то суток или недель... Тюремный двор. Колючий, как зона, ветер. Не могу идти. Рука конвоира сгребает у лопаток в складку бушлат и так ведет. Кутенка тащят за шиворот. Топить.

– Посади ее на стул!

Кашкетин уверенно и небрежно-деловито протягивает перо. Не поднимая рук с колен, отрицательно мотаю головой.

– Ничего, еще как подпишите! –К конвоиру:–Веди на кухню, я звонил.

Неболышой некрашеный стол. Накрыт чистым холщевым полотенцем. Что это? – Огромная краюха хлеба. Суп с мясом, золотой россыпью выступают половинки гороха. Котлета, да-да, котлета с румяными, наверное, хрустящими ломтиками картошки. Конвоир придвинул к столу табуретку.

Рот свела терпкая слюна. Вдруг ударило в голову: сказочная пища – западня, тут подмешан яд, притупляющий, расслабляющий волю, слыхали о применении такого? – "Еще как подпишите..."

– Есть не могу. Уведите меня.

Когда вошла в камеру № 1, женщины как-то испуганно, краем глаз, переглянулись. (Хороша я, наверное.) Зина сказало:

– Мы были уверены – ничего от тебя не добьются. (А я не была уверена.)

Оксана ласково коснулась меня рукой.

– Мария, это же и есть подвиг.

Милая, на подвиг идут добровольно, а тут простая неизбежность – куда деваться?

Добрые Зинины руки, глаза Оксаны, два омута, согретые солнышком. Все вы, хорошие мои, тут. Осторожно спрашивают. И слышат лишь о котлете и горохе. А хлеба – во сколько!

Опытная Зина, дольше всех пробывшая в тюрьме, досадливо всплеснула руками:

– Глупая, глупая, они же обязаны через семь суток голодного карцера полноценно накормить. Тюремное правило. Это был простой конвоирский обед, чего ж ты не ела?

Боюсь, сейчас заплачу.

Сколько раз, Мария, будешь ты видеть во сне холщевую скатерть-самобранку, протягивать руки к золотому гороху, ощущать аромат котлет. И,когда очнешься от сна, каждый раз пронесется в уме одним и тем же поздним раскаянием: хоть бы краюху за пазуху взяла с собой...

Около хлопотали Зося с Ларисой; они, переругиваясь, постилали стащенные уже с меня шаровары, укрывали бушлатом ноги. Я проглотила подсунутый Зиной сахар и заснула сном-провалом, сном-небытием.

IX

Утром села на "постели", трижды развела плечи. Одуряющий смрад, мокрицы, стоялое время без сна и без воздуха, сверлящие допросы, жалкий ломоть хлеба на грязном полу – все позади. Мысленно оглянулась на дни-ночи "моего карцера" – и внутри затеплилась молчаливая гордость: первый подъем, трудный, осклизлый и крутой – одолела. Надо и дальше отрабатывать свой урок.

Ела истово, будто молилась, и сразу засыпала за прикрывающими спинами. Дежурил, по счастью, Чудак, он глядел в глазок, "не замечал". Через сутки, проснувшись к ужину, объявила:

– Прошу считать меня нормальным человеком. Отдохнула, выспалась. Теперь подышать бы морозцем.

– Расскажи что-нибудь, и сама полетаешь по воле, и мы с тобой заодно, – предложила Зина.

При отсутствии радио и печатного слова послушать рассказчика – единственная возможность уйти хоть на час от себя, от тошной обстановки. Давно я поняла, чего ждут слушатели. Окружающее монотонно, лишено движения, за которым хотя бы мерещилась притягательная цель. Значит – рассказы должны протекать в "темпе", нагнетать события, мчаться к динамическому финишу. Здесь все сжато запретами, вечными опасениями – пусть хоть в вымысле сердце источает нежность, а воля диктует размах, дерзость, риск.

Опыт показал, что лучше отвечает таким требованиям сценическое действо, пересказ виденных спектаклей. Этот материал для рассказывания более пластичен, его легче приспособить к аудитории. То, что замедляло действие и не могло заинтересовать сегодняшних слушателей, давалось в двух словах, зато "от себя" добавляла декорациям сочного цве-

та, усиливала моменты неожиданности и драматизма в узловых сценах. И стала признанным рассказчиком и в тюрьме, и в лагере.

Но сегодня будет "Банка икры" Эдгара По. Рассказ, может быть, более чем другим, нужен мне самой.

Профессор узнает, что он и его гости – на пороге насильственной мучительной смерти-гибели. Чтобы избавиться перед концом от издевательств и мук, профессор предлагает гостям тайно отравленную им икру, ест ее вместе со всеми. Ему, хозяину, досталась меньшая доля отравы. И подоспевшая помощь смогла вернуть к жизни только самого профессора. Вокруг стола сидело семь мертвецов.

И закончила пришедшим вдруг в голову выводом:

– Человеку не хватило надежды, как самолету горючего. И всего на полчаса времени.

Отозвалась Ниса.

– Проходила по физике: непосредственное соседство ведет к диффузии. Мария заразилась от Зины поучительством.

– Есть такие, что и метлой не выучишь – (Зося).

Так начинаются камерные перебранки. Настоящая причина их всегда одна и та же: мало воздуха, озона, пищи. Нету солнца и нет доли. Заводила и непременный участник перепалок – Зося. Но ее, как ребенка, можно иногда отвлечь неожиданным, смешным или нелепым. У меня в запасе оказалось подходящее.

– Каждый по-своему развлекается и отвлекается. В ожидалке кто-то стоял-стоял, да и нацарапал гвоздем: "Меня Заправские учили в три кнута, в четыре гири. Мне, мальчишке,нипочем, не убьешь и кирпичом".

– Глупые стихи про Ларису и про Нису. – В Зосе всегда клокочет раздражение.

"Отвлечение" не прошло. Противники уже готовы обнажить клинки.

– Давайте вместе умолим Мусю не пужать нас дополнительными страстями. Ты нам что-нибудь говорливей, разноцветнее, – вмешалась Зина.

– Что-нибудь уводящее подальше отсюда.

– Про любовь бы послушать...

– Уведи меня в стан любви – только тутошней.

Прибыла я на пересылку осенью, из-за распутицы и непогоды этап, пока дошел до места, "гостевал" по многим лагпунктам. Повидала и наслушалась много больше своих сокамерниц. И рассказывала, к вящему их удовольствию, между прочим о невозможных, просто невероятных лагерных романах. (Чем крепче нажимают на жизнь коленом, тем обостренней и ловчей она ищет лазейку выскользнуть из-под пресса.) – Так и сейчас, восхитились, ужаснулись, главное, потихоньку и с удовольствием посмеивались. Не давали уклоняться от желанной любовно-лагерной темы.

... Шаги у дверей. Глаза округлились. – Раз... звон ключей на связке, два... лязганье металла о скважину, три ... поворот ключа. Третий звонок, может быть... последний – для кого?

– Козлова!

– В следующий раз – уж меня... – сокрушенно поникла головой Лариса.

Зина успела поведать – вызывают отсюда ночью. Сам Кашкетин ведет дела двоих из камеры № 1, Козловой и Иоффе. – Как услышу, что тебя провели обратно в карцер, знаю – сейчас мой черед... Держит сколько захочет. Но вызывает, как правило, до двенадцати.

В двенадцать сменяется надзор. Когда не спишь, – слышно, они не стесняются.

Смена давно прошла. Зины нет. Бедная моя, бедная! До сих пор на твою долю выпадало меньше, сегодня вся порция, и за себя, и за меня.

Она не входит, а как привидение, не отнимая ног от пола, вкатывается в камеру. Очень медленно улеглась. – Хотела подвинуться, согреть ее, но Зина отстранилась, слабо застонала.

– Что с тобой?

Зина дотронулась моей рукой до своей головы – под пальцами слипшиеся в крови волосы. Я рывком поднялась – попрошу воды, приложу полотенце, сегодня Чудак...

– Ничего не надо, не в первый раз. (Вот почему она почти не двигается и очень мало говорит.) От стука все проснутся. – У Зоси пунктик – страх побоев, она не выдержит и нас и себя замучает. И так кричит во сне, вскакивает, кажется, – кончит безумием.

Уткнулась я в изголовье, плечи вздрагивали.

– Ну, ничего, разве это хуже Кирпичного?

– Может, и хуже.

Через какое-то время чуть слышно:

– Ты спишь?

– Какой сон... Знаешь, когда ведут туда, у меня исчезает чувство реального. Будто лечу, падаю в нездешний мир. Задаст пару вопросов, потом отойдет к окну, стоит, не шевелясь. А я у него за спиной ни о чем не думаю, схвачусь за свой стул руками и жду – побоев или того, чем все это кончится.

– В карцере я все думала – скорей бы...

Зина заговорила не сразу.

– А я, наверное, нет, не хочу "скорей". Раз, стоя в коридоре, услышала выстрелы. Три. Пришла уверенность: сегодня... И, когда уже в кабинете напарник Заправа схватил палку, веришь ли, на секунду пахнуло... да, представь себе, пахнуло чем-то вроде избавления. Избавления на сегодня, может быть, еще на дни... Не лупить же перед самой смертью, почти уже покойника... Может, не одна только Зося на грани.

– И такое напряжение каждый раз?

Ответ нерешительный, тихий:

– Н-нет, иногда сижу спокойно, он там у окна один, обо мне забыто. Явственно ощущаю, стоит – и мучается. Темной мукой... В ночном вое шакала в степи слышится плач ребенка...

Зина, бывает, просто вся светится.

Коридор-ожидалка. На стене все еще нацарапано: "Ждалки-палки". Дальше самодельные стихи, цитированные в камере.. Кто-нибудь из урок постарался. Веселый парень.

У Кашкетина болезненный вид, горло обмотано теплым кашне, говорит хрипло. На столике в углу электроплитка с большой кружкой. Когда вошла, молоко вздулось пузырем. Я указала рукой. Кашкетин обернулся снять, немного молока все же убежало.

– С П. Это надо иметь в виду своевременно.

После попытки бегства из лагеря бумаги заключенного на все времена крупно помечаются слева этими буквами – "склонен к побегу".

Кашкетин отпил из кружки.

– Можете не отвечать, но в порядке, так сказать, простого светского разговора хочу спросить – когда лесом шли, встречалась ли возможность бежать? – Ну как,ответите?

– Пожалуйста: таких возможностей было сколько угодно.

– Почему же не воспользовались?

(Бежать... от кого? Бегут, кто имеет тыл. Нас порешили "врагами народа", и миллионы голосованием наложили на решение свою печать. Бежать – куда и зачем?)

Он ждал ответа.

– Перед лицом смерти можно сорваться в бег чисто инстинктивно. Но беглого лагерника никто бы не принял, умирай – не протянул бы руку. Каждый застыл по горло в своих болезнях. Да и у кого хватило бы духу ценой собственного спасения подвергать еще кого-нибудь смертельной опасности? Остается только пункт, куда адресован и куда тебя в свое время доставят.

– Выходит, вы судьбой обречены мне. Что ж, меня в этом случае не придется штамповать С П. – Ну как, очухались от сортира?

– На ваш светский вопрос должна ответить – нет, не очухалась.

Кашкетин оглядел меня с ног до головы. Поднял телефонную трубку.

– Выдай бабам из штрафного их носильные вещи. Прут в вонючей вате, как брюхатые бегемотки. Смотреть тошнит. – Ко мне:

– Идите, отдыхайте.

Два события: на-днях выдадут свое платье, а сегодня – баня. Я склонилась над Зиной:

– Вот ключ, присоедини к своему на колечко. Пока моемся, будет – как полагется – шмон, так вот – у меня ключа нет.

– Я в баню не пойду, скажусь больной.

Просто остолбенела: баня – единственное в лагере удовольствие, а в тюрьме, в их положении – просто мечта.

– Голову можно не мыть...

– Тело тоже в синяках и кровоподтеках.

– Я помою тебя, не сделаю ни чуть-чуть больно, от теплой воды сразу почувствуешь облегчение, отойдешь.

– Знаю, но – нельзя. Им мало избивать, они хотят еще для пущей "эффективности" действенной подготовки, чтоб вид вспухшего, наверное,си-

не-багрового, в рубцах и кровоподтеках тела – заранее потряс, ужаснул, главное – обезволил бы всю камеру. Зося действительно сразу бы впала в безумие. – Я думаю, отсюда и внезапная баня.

Не пошла. А теплая банька была ей желанней, нужней всякого лекарства. У Зины нет себялюбия, как у некоторых – музыкального слуха. Даже больше, эгоизм не присущ ей так же, как хобот ласточке.

Оксана за вещами не пойдет. У нее их нет. Оба чемодана отправила с мальчиками, потому что "мне-то вещи уже не понадобятся"...

Из приоткрытого кабинета Кашкетина вырывается необычно яркий свет и какие-то упоительные, забирающиеся в ноздри запахи.

Вошла – и остановилась в дверях. Обычно кабинет освещался только настольной лампой. Сегодня дополнительно, с непривычки почти ослепляет еще и верхний свет. Круглый стол у стены накрыт белой скатертью. Два прибора. Многозвездный коньяк, бутылка ополовинена, рядом недопитая стопка. Масло, сыр. Розовые влажные ломти семги. На плите сковородка, потрескивает, шкварчит ветчина с чуть прикрытыми кружевом пены круглыми солнцами желтков. И все это пахнет, до черта благоухает, кружит голову.

Кашкетин доволен произведенным эффектом. Свежий подворотничек, возле рта следы снеди. Не дождался гостей, богато выпил. И закусил наспех (тарелки чистые).

– Вы все еще верблюдицей?

– У меня потерян ключ от чемодана.

– Я велю его открыть вам.

– Не надо. Из незапертого чемодана все раскрадут, вы же знаете, подсунут "по описи" рубашки и прочее из актированной казенной дряни.

– Как хотите. Скиньте бушлат, мы с вами хорошо поужинаем. Выпьем коньячку для начала.

Я окинула взглядом всю благостыню на столе.

– Еще один метод следствия?

– С вами трудно хитрить. Да, один из подходов. Так что, можете быть спокойны, все государственное, не мое. Присаживайтесь.

– Благодарю, я поужинала.

– Бросьте, Мария Михайловна, какие уж тут высокие принципы... Выдалась возможность – поешьте попросту, могу разрешить остатки для подружек с собой забрать. Ну, садитесь. И не молчите, в камере разливаетесь, как по радио. Валяйте и тут, про веселых людей, про издалека.

(И этому подавай "уводящее"...)

Прижалась к дверной раме. На обычном месте две палки, третья где-то в "работе".

Он зашел за письменный стол. Мрачно поглядел на узницу.

– Не желаете делить трапезу с Кашкетиным?

... Трапеза – или заправка перед стартом? – Точно поймав мои мысли, заметив взгляд, брошенный на дубинки, он застучал по столу костяшка-

ми пальцев и, опершись на них, грозно подался всем корпусом в мою сторону.

– А если вам приказ – набить пустое брюхо, если я велю заткнуть глотку своему голоду яичницей? – Велю, заставлю!

И тут – неожиданно, внезапно – внутри меня взорвалось такое ругательство, каким мог бы замахнуться матерый урка.

Люди добрые, это же властитель судеб, жизней!

Хохотать? Плеваться? Плакать?..

Он с силой рванул резиновую дубину. – Не раз среди сумбура снов я в комок сжималась под взмахом резин – удар придется и по душе. Но сейчас, оттесняя все другое, – объяли, всю затопили ненависть и злость. Втиснув сжатые кулаки в карманы и, как гусыня, вытянув вперед голову, в отчаянии гадливости, то еле сдерживаясь, то спадая до бабьего крика, бросала:

– Кошмары недельной бессонницы, растоптанный человеческий навоз у самого бушлата, мокриц – их вы сумели повелеть. Без устали приказывать гибельный паек, пускать в ход, что под рукой, это вы тоже можете, кто вам указ? – Но моему голоду, всем другим моим чувствам – я, только я сама хозяин!

– Ишь, как осмелела, заставлю забояться...

Длинный телефонный звонок.

– Буран? Набирает? Подавай сейчас же.

Выставил меня за дверь. И, надевая на ходу белый полушубок, пролетел мимо, к выходу...

Не иду, а чуть движусь, вцепившись в рукав конвоира. Еле дождалась его.

Столпотворение. Сорвалось, сцепилось, кружится серое с белым, небо с землей, сумасшедшие седые ведьмы тычутся, носятся, с воем, свистом, ловят в космы все живое, неистовый снежный водоворот охватил весь мир.

Вдруг – провал. Белая буря внутри ограды настороженно притихла. Или колючий забор даже вихрям подрезал крылья, не то буран очертил, огородил это место от мира. Из штрафного стало слышно, как гулко хлопает о деревянный козырек полуоторванная балка, пустые гробовые удары, ветер, как из-под замли, стонет у-у-у... Какой проклятый, затерянный угол, глухомань лесная, дичь...

Тут не трудно заскулить в лапу. Все они пьют, им бутылка – что насос для мяча. С одной пьяной тоски тут все возможно. Преступления, злодейства – все схоронит, занесет снег.

Схоронит и летописца, и его ненаписанную летопись.

И двор, и кабинет ввалились в полном смешении вместе со мной в камеру.

... Перемазанный рот, замогильные хрипы ветра, самодур-заплечник, гробовой грохот, выпьем коньячку, взмах резиновой дубины...

Где она? Где выход на-гора из темного мира зловещих наваждений,

убийственных химер – наверх, к жизни, к разуму? Вырвался стон, Лариса тотчас проснулась, будто сна и не бывало.

– Вы что? Он оскорбил вас?

– Он может убить, но оскорбить меня не может. – Рассказала о великолепии белой скатерти, главное – о прочем. Спросила:

– Как вы думаете, можно жить в стихии нелепости?

– Конечно. Все уже привыкли к ней... Лариса ответила, засыпая.

Привыкли. Акклиматизировались.

Может быть, это и есть самое худшее?..

Шепот, оказывается, разбудил Зину.

– Ты уже?

– Он уехал, давай спать.

– Слушай, ты начала шептать о коньяке, о всяких там яичницах, и мне подумалось: пир мог продолжаться часика два. До двенадцати. Хоть сегодня не осталось бы времени на мою изодранную спину.

– С этим – пировать за одним столом?!

– Не надо, не примеряй грязного платья, – устало прервала Зина и прибавила с сухой полынью в голосе:

– Кашкетин подталкивает дрянь, и она, хочешь не хочешь, лезет в голову. Иногда мне кажется, он хочет выбить из меня не имена, а достоинство коммуниста-революционера, чтоб бросить в лужу. Еще посмотрим, слизняк.

Кажется, она попала в точку. Нет, Кашкетин, тут не выйдет. Из такого материала делаются подвижники, что стоят насмерть.

За нее спокойна. А вот за себя...

Утро. От безделья больше всех страдает Лариса. Подобрала в ожидалке сапожный гвоздик, наточила о стену. "Шилом" проткнула ушко в тресковой кости. Уселась под дверь – единственное недосягаемое для волчка место. И из обрывка рубашки, надергав предварительно из него же ниток, превращала лоскут в воротничек с вышивкой "филе". Вышивальщица она искусная.

Но Сморчок что-то почуял. Внезапным рывком открыл дверь, спомал инструмент, вышивание и гвоздик в тряпочке выбросил в парашу.

После смены Лариса выпросила у благоволящего к ней Чудака ведро с водой. Вместо того чтобы, выкрутив тряпку, протереть ею пол, на котором надо сидеть, расплескала ведро воды по всей камере. В водной стихии отдавала капитанскую команду: в тот угол! теперь сюда, стойте на одной ноге! (Места мало) – крутись на пятачке да шевели холодные пальцы в подмокших валенках.

– Жить и умереть за надраенный пол, – буркнула я.

Чудак, сжалившись, бросил большой сухой мешок. Зося на лету подхватила его и, прогнав с поля действия Ларису, почти досуха протерла пол.

– А про вымытый пол лозунг ваш, Муся, не так уж смешон, – вернулась к теме Лариса. – Только подумать, сколько истощили сил, в частности моя семейка, пока добились раскрепощения женщин! Я, конечно, то-

же за это, для потомства, для милых наших внучек. А мне – как бы это снова закрепоститься? Сидеть дома, какая прелесть! Гладила бы мужу рубашки, жарила бифштексы. И зря вы, Муся, на себя ответственность взяли за мою долю банкетной снеди. Ужасно тонкое воспитание – деликатность манер соблюдать в загаженном свинячьем закутке, как в оранжерее среди азалий. И вести себя в отношении Кашкетина, будто это обычное растение, а не моральная кривуля, сорняк ядовитый. – По крайней мере напомнили, чтоб выдали нам ночные рубашки, кофточки, туфли? Или не соблаговолили?

– В этой ситуации и не надо было ни о чем просить, вам это непонятно?! – спросила Зина.

– Ходячий "прынцып", как выговаривает начтюрьмы. Зина – прынцып по характеру.

– А Лариса – женщина по призванию, – рассмеялась я.

– Не женщина вы, Лариса, а баба, – хлопушкой по мухе двинула Зося. – Вон, слушайте, в коридоре шаги, поволокут куда-то кого-то, небось, знаете, пришел уж ваш черед.

Лариса находилась у дверей. Она побледнела, закусила губу, напряженно вытянулась. Все в ней застыло, как в остановившемся кадре, ушло в слух.

Ничего не услышала.

– Вы чего меня обманываете? – Оживая и свирепея, шагнула к "обманщице".

– Опомнитесь и оставьте в покое Зосю, – неторопливо приказала Зина.

Под ее взглядом Лариса подалась назад, обхватила голову руками. Раскачивая плечи из стороны в сторону, глубоко вздохнула, выдохнула стон, зашуршала судорожным, садняшим шепотом. Вся исходила мольбой-молитвой, звучавшей, как отборная ругань.

– Господи, услышь, даруй мне чем-нибудь заняться, забыться, а не можешь, так научи хоть биться об стену головой, подай силу и крепость выть во всю душу и лаять на небо твое...

Только вдвинулась во всей своей вате в кабинет, вслед вошел с портретом в обеих руках Заправа, за ним лысый и комендант Голиаф. Последний вбил гвоздь, придвинул стул. Кашкетин влез и бережно повесил портрет на стену. После чего все четверо молча поглядели на Него. Лысый тихо, как в церкви, сказал: левый угол чуть опустить. Голиаф подравнял и, пятясь, подался назад. Показалось – сейчас перекрестится.

Бог возник из человеческой мысли. А божков творит злая воля людская. Потом перед ею же сотворенным и сама сгибается пополам.

Конвоиры в пустоте уже не щелкают пальцами перед калиткой. А сегодня только отомкнул ее ,– вдруг встреча с заключенным, с допроса вели.

Мелькнуло что-то знакомое. Но тот конвоир мгновенно закрыл меня собой и сразу крикнул "своему" арестанту: "Стой, лицом к забору!" А мой

страж, растерявшийся и злой, с внушением "не оборачиваться!" указал направление в комендатуру (это еще зачем?). По пути туда быстро обернулась, получила толчок в плечо, успела увидеть под фонарем у калитки руку, таким знакомым жестом приглаживающую к затылку волосы! Костя...

Что он не опознал, – неудивительно: ватные штаны и бушлат у всех одинаковые, а ватная шапка-ушанка досталась мне огромная, спадает на глаза и закрывает почти все лицо. Но как же я не признала, не окликнула простоволосую голову? Неужели за один месяц можно стать так трудно узнаваемым?

От огорчения даже упустила прислушаться к перешептыванию своего сопровождающего с комендантом, долетело только: "сговорись". Конвоир исчез, вернувшись, бросил коменданту: "Не нашел его", – и, торопясь, привел меня к следственному корпусу. Впустил, приказал "стоять у кабинета до вызова", запер дверь за мной.

Ночь неожиданностей: в коридоре табуретка, на самом кончике ее, боком, вроде, горбатое существо, в лягушиного цвета бушлате (такие короткое время выдавались после побегов – для большей заметности).

Пока никого нет, – подвинуться поближе. Потухшие глаза без блеска, серая кожа на черепе. Шепотом:

– Вы кто?

– Пограничник.

Взволнованно и сразу рассказал – из кашкетинской двери вышел ладный парень, вслед ему какие-то слова. Он живо на них в дверях обернулся, ответил:

– Мы вконец измотаны, жаль, некому двинуть, отделать тебя разок как следует. Твое время... Ты нагл, ты зверь, как все временщики. Только помни, чем все они кончали и кончают...

Потом меня в кабинет, а он тут оставался. Кашкетин – туча-тучей...

Пограничник не горбат, рука всунута сзади под одежду, чтоб отвести ее от спины. Оглянулся, с дрожью сбросил с плеч лягушиный бушлат. Телогрейки, как у нас у всех, под бушлатом не было. Грязная рубаха стоит фанерой – сплошь в засохшем гное и рыжей крови.

– Кто вас? – голос мой сломался.

– Вместе, порознь, слова, удары, ругань, сразу у всех одно и то же, мне и не до того – который. Все точь-в-точь одинаково, автоматически. Даже без злобы, что чурку обрабатывали.

А когда снова, по вздутым уже, спаявшимся следам литых резин, по незасохшим кровоподтекам, загнивающей спине сыпятся удары твердой резины, – сплошно вою, пес бы так не выл, когда шина всего лапу переехала. Спасительно теряю сознание, как с того света слышу слова доктора: "Теперь – можно". И опять до утраты сознания и нового "пульс уже есть"...

Не помню, через сколько перестали трогать. В баню не водили, я бы не пошел, разве – волоком. Уже вернулась связная речь. А то только хрипел. Мышц у меня уже нет. Сердце, нервы, все другое приросло изнутри

прямо к коже. Когда снимаю рубаху, если прилипнет, будто вместе с кожей заживо все нутро выворачивается. "Назови изменников" – и все тут.

– Назвали?

– Раз от раза перечислял друзей, самых заслуженных командиров. Чтоб невероятней. Все отняли, еще и негодяя сделали из меня, утопаю, все глубже, некому крикнуть, на помощь позвать.

Он оглядывался, тревожился, опять спешил. После одиночки ему необходимо было говорить, объясниться, потому что он не клеветник и правдой о своей страшной лжи рвется стереть ее. Поздно, несчастный предатель, мученик.

– Сейчас вдруг: "Ты тут порядком насыпал, а кого скрыл? Я собираю этап в Москву, возьму, да и тебя суну". (Это, похоже, так – у меня во второй раз оттиски пальцев взяли.) – "Смотри, в Лефортове побольше всяких средств разобраться, лучше немедля отвечай мне – кто и кто изменники?" Тут, знаете, будто парень тот голос мне подал – "человек, помоги себе сам", и я прямо в лицо Кашкетину громко сказал:

– Никто. Ни один. А будете снова бить,– еще прибавлю фамилии – нате, ешьте... Выгнал меня матом, сам вышел в полушубке, уехал, видно.

(Если пограничник исчерпает свою часть, назовет из соседней. Им предстоит то же самое – путь страданий, эстафета клеветы.

... Тянется цепь, множатся ряды "врагов народа".)

Вдруг посмевший, возбужденный счастьем, ужасом смелости своей, будто в трансе, он говорил, говорил:

– ... Я рос у деда-старовера, лесника, он читал Библию, одна фраза все крутится в голове, будто про меня, про сегодня: "О дне его ужаснутся потомки и современники, будут объяты трепетом". И никто не поднимет голоса, отвечаем всегда:"аминь"...

Он не мог остановиться, пока не вскочил, услышав шаги. Увели его, страстотерпца. А я впервые в коридоре уселась на табуретку.

... Изувеченная спина, еле слышный шепот отчаяния.

Так вчера, сегодня, завтра. День – это задыхаться от боязни ночи.

... Народ как целое – понимает, мыслит умней и плодотворней средненьких вождей. Это опасно. Застраховаться можно, резко ограничив, обведя сомкнутой чертой весь людской кругозор. Прорубленное окно в Европу плотно заложить: все идущее оттуда – теорня относительности, кибернетики, фрейдизм, математическая логика, современное искусство, всю прочую контрреволюционную чепуху – не только запретить, но и сделать строго наказуемой. Запретить прежде всего как абсолютно непонятное, недосягаемое для самого неуча Законодателя. Вот и никто не должен усваивать – умней Кого ты захотел, ты смеешь стать? – Вспоминается рассказ о всесильном древнем владыке: желая картинно показать, как достиг слепой, немой покорности себе всей страны, – острым мечом он со свистом сносил в поле головки колосьев, что возвышались над другими...

Критика – недопустимое посягательство на Всеведение и Безгрешность: все простегано, пронизано закодированными мыслями. Они, человеческие мысли, – в зоне, огорожены психологической колючей прово-

локой. Для их выражения в речах, книгах, газетах, для общения друг с другом внедрен набор считанных, обязательных фраз. Все другое, как и свой ответ на окружающее, выбито, искоренено.

Кто поступенчато насаждал, – и сам пропитался готовыми фразами, как медуза жидкостью, без которой она – комок слизи. В кругу одинаковых словесных наборов, одинаковых шагов люди-формулы вполне стандартны.

Потому что действует везде одно и то же:

заведенность.

Наступление инструкций и призрак тюрьмы для в с е х на горизонте – создали невидимую массовую пружину, движущую сознание, управляющую поступками и всем бытом.

Дар веков – инстинкт жизни с достоинством, вызывающий уважение и подражание окружающих, делал человека выпрямленным, гордым и честным. Но куда податься, к кому руки протянуть, если справедливость, разум, мораль потоплены в понятиях "для пользы партии", "дисциплина" и "неуклонное выполнение приказа"?! Человек заблокирован со всех сторон. Самоуправство и безапеляционность НКВД, закон, ставший наемником власти, превратившийся в "чего изволите?", в произвол Одного над мыслью, душой, над твоими близкими, над бренным телом твоим, – взошли в каждом страхом, согнули позвоночник. Человек заблокировался изнутри, покорился, сдался. Абсолютная беззащитность привела в конце концов к абсолютному послушанию.

... Никому не лестно так уж прямо считать себя подхалимом, а то и просто подлецом. Остается зачеркнуть свое, инстинктивное, понимание – где добро, где зло, забыть (так велят), что чисто, а что подло, и поверить: гипнотическое внушение –идущее вразрез с самой наглядной явью! – глас Пророка, вторить, следовать ему – и есть настоящая честность. Гипноз, самогипноз доводят тебя до апогея, до клеветы, до крика "распни!" А пытаться заглушить робкий голос совести – можно, лишь повторяя преподанное, по всякому поводу, пошире, погромче, чтобы перекричать друзей, которым ты не веришь (как и они тебе), которых ты боишься так же, как все боятся, страшатся всего и всех.

Тебя целиком столкнули в душевную ложь. Ты стал "фрунтовиком" и поступью, и головой.

Пробовать заговорить с таким просто, исходя из здравого смысла, – что глухую стену долбить головой. Не доходит: из затверженных фраз образовался, обтек сознание род плотной, непроницаемой коросты. Через нее не может пробиться то, что бередит, вызывает душевные эмоции. А где бездушие, там возможность и приемленность любой жестокости. Возможность Кашкетина, а значит, и пограничника: жертвы палача и палача жертв.

... Вокруг Вождя возведенная шаг за шагом Китайская стена из людей со снятым с них моральным долгом, обязанных никому и ничему не верить и ненавидящих всех и все, что способно подорвать их привилегированные позиции. Все эти чиновные люди, облеченные над нижестоящими

властью с такой же полнотой, какая свыше царит над ними, не могут и помыслить своей вольготной жизни без Вождя. (Не этого, так другого, так же будут даваться инструкции, писаться для них речи и, главное – так же будет оберегаться их власть и все приволье.)

Вождь целиком создал их, своих чиновников, своих бюрократов. Они с трибун, со страниц прессы всей своей коленопреклоненностью создают, крепят монолит Вождя.

Такая, органически спаянная, конструкция неуязвима и непреоборима. Так Вождь – живой, повелевающий – в обозримом будущем бессмертен.

Вот что как наследственность перепадает на долю нашего потомства.

Свою былую способность раскрывать сокровенный смысл понятий, творить идеи, распахивать перед человеком мир и делать его необъятным – слова утратили.

Но они теперь приобрели другое: магическую власть императивного знака, почти заклятия. При отдельных словах-сигналах уже выработался рефлекс – с таким-то выражением, такой-то реакцией (овация или, наоборот, свист) играть такую-то роль. В игрище обязаны участвовать все, весь народ.

Магическая дудочка играет – пляши под нее! И умный, и образованный, и мыслящий, привыкая считать это нормальным, пляши до самой смерти...

По примеру, скажем, Сафарова, бывшего члена Центрального Комитета партии: он ухитряется, устервляется плясать при любых условиях.

Еще до завтрака внесли для Нисы персональный топчан... Она явно польщена.

Клавдия шепнула: "Это за службу? Или чтоб отвлечь внимание от кого-то другого?"

Зина поймала ее вопросительно-недоверчивый взгляд, переходящий с Зоси на Нису, на ее красивую соседку. Ответила так же тихо:

– Брось, Клавдия, ведь для этого и весь спектакль.

– Спектакль? Это было бы примитивно и глупо.

– Ты, однако, на примитив сразу попалась. Глупо или не глупо – им совершенно наплевать, тут главное – посеять деморализацию, создать обстановку недоверия, раздраженности, неприязни.

Я была с Зиной вполне согласна. Но... рассказывать вслух о пограничнике, о неожиданной встрече или поделиться ночными думами – воздерживалась.

Дорогой друг, вам короткое письмо, почти лефовское, из фактов. Этой ночью меня выдворили в коридор "подумать", вместе со мной вышла вся троица. Двое тут же отворили дверь в другой кабинет, а Заправа задержался, он толкнул меня куда-то напротив. Я оказалась в абсолютной первозданной тьме. Хотела раздвинуть руки – у локтей стенки. Почти у лица то, чем прижали меня вплотную к холодному шершавому за спи-

ной. Я замурована. Тело сковано, дыхание, чувства заперты в колодки. Это непереносимо, я еще живая, мне душно!

Спокойно. Главное – не выпускать руль. Главное – спокойствие. Будь укротителем себя. Сама себе Дуров. Локоть больно ударила – бич дрессировщика. Теперь подачка – немного поэзии: "Безумцы, творите свои повеленья!" – Повелевают. Творят. Дуров, держи за ошейник.

Дальше... Тишину пронзил сверляший вопль, и сразу все заполнилось вскриками, сплошными страшными стонами. Последние, казалось, хрипы прерывались режущим взвизгом. И вдруг в хаосе запредельных, рвущих все представления звуков – окровавленным белым цветком на поле смерти в муке вознесся, как последняя мольба, высокий, совсем ребячий крик: "Мама!" ..

Я взвыла. Ревела в голос, причитая над чьим-то сыном, моим сыном, рычала, бессловесно ругалась, колотила в дверь кулаками, ногами...

X

... Опять валит меня с ног одуряющий смрад. Мокрицы раздулись, парашка переполнена, содержимое перевалилось через край. И черви, черви, мокрицы...

Он задумал, Он содеял этот мир, загаженный словами и действиями, изгороженный колючей проволокой. Где все подслушивается, все наказуемо, все нельзя: говорить, думать, болеть чужой бедой, жить. Где некуда прислониться, потому что ненадежно все окружающее, сам воздух, которым дышишь. Твои цели, помыслы сжимают, загоняют все вместе в голодный кус хлеба. Чтоб из человечьей кожи выдавить человека, оставить только голод да еще страх предательства, позора, страх ночных невыносимых физических мук.

Где защита от приказной бессловесности, враждебности, кровавой жестокости?

Человека бьют!.. забивают...

Господи, что делать...

Перед дверью. Тело сводит судорога, ведет на тошноту, а желудок пуст.

От голода, от отчаяния разламывается голова моя. Взбудораженным мозгом овладевают предчувствия – может быть, пророческие; перед воспаленным воображением проносятся видения в туманных образах, навеянных всем слышанным от прошедших ад самого страшного места.

Лефортовский длинный коридор, непередаваемый животный рев, стоны с хрипом со всех сторон – обволакивают, душат ведомого. Он объят уже сплошным скрежещущим ужасом. Остановка у двери. Вот у такой же двери, за которой непонятное, – втаптывается в грязь драгоценное прошлое, друзья, близкие, там беспречинная мука, непостижимое, чего не может быть, там смерть не только бессмысленна, но, главное – обесчещена. И бесстрашный храбрец, один из творцов Победившего Октября,

будто свалившимся, готовым взорваться ядром отъединен от тех корней, что питали его, делали беззаветным героем, творцом. Потеряна власть над собой, малодушие овладевает отважным сердцем... Боже, если у тебя много силы, почему не дал ее им... нам...?

Сейчас войду...

Не вошла. Повели без допроса обратно. В "мой", "особый"...

Дорогой друг, я сдаю, совсем что-то ослабла. Десны распухли, положу в рот кусочек размоченного хлеба – вся голова наливается болью.

У ног моих черта, за ней то, что больше смерти,– омут безумия. Вы – мой спасательный круг, только вы каждый раз вытаскиваете меня на берег.

Как-то я писала вам, что силы человека не безграничны. Куда там, они просто жалки, все вместе ограничены одной палкой. Тут молотят людей, чтобы выколотить зерна клеветы, считая, что они наверняка найдутся у каждого: откуда взяться уважению к людям, когда сам готов решительно на все, что прикажут?!

Руки жертвы палка щадит. Больше она рвет до красных брызг кожу и мясо только для того, чтобы по бумаге задвигались руки. Ложный донос? Культивируется. Но весьма часто – "внутренним порядком" все заранее готово. Так скорей, оперативней. Важен счет. Статистическое количество "выявленных"– выполнение контрольных цифр. – Да, да, точно, это я не от муки моей и не от бессоницы: о преподанном обязательном проценте поведал мне еще на ОЛПе заключенный, бывший следователь из провинции (на "проценте" и пострадавший). Процент выполнения немыслимого плана, кроме прочего, показатель "энергии, высокой активности" местных работников. – Какой маразм сеется вокруг, достигая до самых отдаленных исполнителей!

И необходим Сафаров, помощник фокусника, тянущего бесконечную ленту из пустого цилиндра, предающий и плодящий предателей. Известно: одна муха за лето дает потомства целое ведро.

Не Кашкетин, а Заправа. Садиться не предлагет. (Вызвал для какой-то формальности? Или наскоро...)

Говорит он один, о Зосе:

– Вы должны ей разъяснить, если не даст нам нужных сведений, мы с кровью вырвем их у ее брата. И тогда уничтожим его. Очень скоро.

(Гнусный шантаж, обман. У них – что ни слово, то ложь. Шантаж глупый: неужели, болван, не понимает, что при постоянной циркуляции между лагерями подвод (возчики ээки) – уже после Кирпичного мы сразу были уведомлены: в соседнем с нашим лагере оглашен приказ, где имя Владимира Яцыка, молодого профессора, героя гражданской войны, возглавляло список расстрелянных... От издерганной Кирпичным несчастной Зоси удалось скрыть.)

Заправа протянул руку к эвонку. Я шагнула к двери.

– Да постойте, мы эапрашивали: ваш сын поэт и талант, с восьмого класса перешагнул прямо в десятый – торопится к нам. Судьбы и его, и ваша сейчас целиком зависят только от вас.

Положил передо мной ту самую кашкетинскую писанину – "подписывайте, пока не поздно".

Обернулась к вошедшему конвоиру и быстро выскользнула за дверь.

Мой умный, мой гордый мальчик, и твой отец, и мы с тобой отринули бы от себя любого предателя. Кто бы им ни был.

Можно жертвовать жизнью, но честью человека, революционера – никогда.

Ты уже юноша и должен узнать услышанное мною от твоего отца в то утро. Передаю точно:" Когда делу, которому ты посвятил себя, уже нельзя служить жизнью, ему надо отдать свою смерть. Это мои слова – и сын наш должен узнать, когда подрастет".

Слова стали понятны до конца через несколько часов, уже после непоправимой катастрофы...

В свои тринадцать лет ты приехал ко мне в ссылку.

Когда подошло время отъезда, просишь, настаиваешь, чтоб никуда не уезжать. "Только здесь я здорово крепко сплю. А продеру глаза, все тело тянет – раззудись плечо, размахнись рука! – Жаловаться мне, собственно, не на что, но там я остро одинок. Может, еще и потому, что взрослые друг другу и детям без конца твердят:"тише-осторожней-не надо",– меня никогда не оставляет чувство беды, бед. Ночью с тем же ощущением часто просыпаюсь, не могу уснуть, набрасываю думки в тетрадку. – Знаешь, у нас в классе был поэт Долматовский, слушал наши стихи, рассказы. Потом беседовал, доходчиво, задушевно, уезжал со всяческими пожеланиями "будущим инженерам, бригадирам, врачам". Обратился ко мне (на "вы"!) : "А ваша дорога – литература, полагаю, поэзия". Мама, так, может статься, – возле тебя. Мне нужно повседневное общение с тобой, критика,советы..."

На другой день, дождавшись меня с работы, протянул листки: "Большой город лишь на горизонте, но уж снова не дает спать. Стихи ночью написал".

Вот они.

Город миазмами полон туманный
Дымно мерцая горят фонари
В голову лезет, свербит неустанно –
Спи отдохни умри

Сон не идет и бессоница длится
Каждый предмет поднимает свой нож
Хочется спрятаться, выбежать, скрыться –
Нет, никуда не уйдешь...

Улица. Мутным туманом-угаром
Город нас душит беззвучно суров,
Каждый фонарь медно-красным пожаром
Держит револьвер снов –

... Тяжкие вздохи, шепот усталый,
Будто попал, где недоля кругом,

В этот, что грезится мне неустанно,
Грузный зловещий дом.

Рамы оконные смотрят уныло
Город крестами кладбища деля,
Руки ко мне протянувши могилой
Виснет, качаясь, петля...

И голова, как пред бури ударом,
Медленно никнет и плачет без слез –
Каждый фонарь медно-красным пожаром
Держит револьвер снов.

Прочла. Беды, беды как раз возле, все время вьются вокруг моего имени. – И мною овладело одно паническое чувство: защитить, укрыть, спрятать, распылить между толпами дальних беззаботных, веселых мальчишек без "бед". – И ты уехал. Дав слово брать иные темы, поздоровее.

Беды-призраки боль причиняют – настоящую.

... Сколько, сколько же раз пришло мне потом метаться, перебирать в уме, передумывать, переплакивать каждое слово горьких строк мальчика...

Я одна, совсем одна, даже мои мертвые друзья, может быть, не со мной, из-за моей растерянности, опущенных рук. Я так устала от тюрем, карцеров, этапов, голода и стужи, от галер подноски-укладки каменных бревен. Измучена шквалом злодейств, которого никто не остановит. Замучена моими думами...

Сы – но – чек!

"Кому повем печаль мою"...

Дорогой друг, в порядке дня то, что у Кашкетина зовется "скрутим руки назад", у Зоси – "Раина шубка, пятна...", у Оксаны – "мне вещи не понадобятся". И у всех – "Кирпичный".

Смерть. Здесь она управляет всем. Как итог ее разумеют следователи. Также и сидящие на полу камер, для них такое не может тянуться бесследно. Частями что-то зачеркивается. Огоньки нам уж чуть видны, они где-то очень вдали.

А издали – воспринимается все целиком. Только здесь по-настоящему понимается, ощущается ширь жизни, острая ее пленительность, вечная новизна. Самое удивительное чудо – люди, с крепкими руками, восприимчивой, ранимой душой, главное – с бесконечной, как созвучья мелодий, как ряд чисел,– творящей, зажигающей мыслью. Для всего этого требуется основа: честь, внутренняя свобода...

... Взгляд Зины – нельзя сказать "прямой" – не то слово, он как-то, присуще ей, спокойно-бескомпромиссный. Не случайно, что именно ее избрал Кашкетин первой мишенью. Жернов его собственной черной греховности давит, толкает сыпать грязь на свет внутренней силы. Цель – надсмеяться, унизить достоинство, а потом запротоколировать фальсифицированные слова.

Зина-то выстоит, а другие – становятся другими. Неузнаваемыми. В жизни и в смерти.

... Смерть. Вспоминаю Сурикова "Казнь стрельцов". Дело не в их закоренелой узости и в правоте Петра. То история, а то замысел художника.

Люди идут на лобное место за свои глубоко укоренившиеся убеждения. До последнего вздоха будут сжимать в руке зажженную свечу своей веры, своего света.

"Подвинься, царь, здесь лягу".

Кто из них сейчас царь? Из всей суетливой стрелецкой жизни – это самые величавые минуты. Последний аккорд – и самый полнозвучный.

... Все, что происходит в паршивой, затхлой тюрьмишке, не подходит под понятие трагедии. Нет и тени торжественности, не то что величия.

Высоко держа голову, всенародно поднимается стрелец на плаху. Такая смерть не зряшная, она работает в сердцах. – У тех, что пали в т у н д р е, может быть, больше душевного величия, но это героизм невидимый, без памяти в отдаленном будущем. – В моем затуманенном мозгу всплывает образ Кости. В глазах – горенье веры и отвага. Одно без другого не бывает.

Всенародная казнь стрельцов. Смерть, творящая жизнь. Сияние в веках.

А тут – давнут тебя в темном углу, как курченка, и ногой отшвырнут падаль в яму. Комариный конец.

Мы, веровавшие, что народ "станет всем", что, не экономя себя, "своею собственной рукой" перевернет весь мир, мы сейчас – марионетки судьбы. Господи, пусть она хоть бережней дергает наши шнурки и палочки, ввергая во все, что есть, что будет.

Вот человек стоит перед своей неминуемой смертью. Приходит понимание собственной значимости. Видит многое глубоким внутренним взором. Становится ответственным за каждый из последних часов. Он становится больше самого себя.

Если умереть – *так человеком,* сумея в последний момент порвать ненавистные веревочки...

Я устала каждую минуту ждать стука судьбы в дверь, устала от настороженности, даже от разговоров с вами, мой терпеливый друг. Мне бы лечь. Вообще, самое лучшее время в тюрьме, в лагере – когда ложишься, проваливаешься в мрак и тишину. Уставшие знают, что такое покой.

Так почему же мы боимся смерти?! – Вытянуться всеми суставами в полном отдохновении. Безнаказанный, законный, бессрочный покой. ("Жажда сна, бездумья, смерти". Гейне.)

... Твой "покой" – момент личный, персональный. На очереди неизмеримо более важное – не обронить, не подписать внушенного ("с кровью вырвем...") имени, имен.

Меня гонят к самому-самому краю трясины лжи, я боюсь сорваться, держусь на одной паутине – спасите меня!

... Если всеми скорпионами загоняют в тупик моральной капитуляции, спасение – не доходя, выброситься в окно. Человек вовсе не то, что он ду-

мает, а что он делает. Смерть как можно скорее – единственно возможная победа над окаш..етенной былью... Очевидно, бывает так – уход из жизни не акт отчаяния, не следствие философского вывода, а самая простая неизбежность, вроде "моего карцера": не хочешь подписывать – иди в карцер, а смеешь даже упорствовать – уходи совсем...

Не есмь, не буду. Человек живой, горячий, уНИЧТОжен. П..вращен в НИЧТО. В синеве неба нет пестрого осеннего леса... Ни света ..и тьмы. Ни будет самой дорогой густоволосой русой головки с еди..твенными в мире темносерыми очами...

"Вкушая вкусих мало меду и аз умираю".

Получила воду и хлеб. Сменился надзор. Новые сутки. Открывается дверь, Чудак, проворчав: "Опять здесь, больно скоро", – рывком что-то сунул в мой карман, торопясь, закрыл дверь.

В кармане бушлата – горсть орехов и два пряника.

До меня в первые минуты не дошло, все в тумане, какое-то зыбучее. А потом...

... будто заблудившийся солнечный зайчик забежал к нам во тьму. До чего же нужна людям капелька доброты!

Пряники мягкие, ничего вкуснее не придумаешь. Грызть орехи с моими деснами не могу, знаю, кому отдам лакомство: сами вы, Зося, для них твердый орешек, Володя всегда будет гордиться такой сестрой. Тоскливо захотелось в камеру № 1.

Когда ближе к отбою я принималась рассказывать, Чудак топтался у двери, очевидно, слушал. Если буду еще в своей камере, в первый же вечер его дежурства приспособлю, пожалуй, "Принца и нищего". Имя Чудака – Андрон, так и назовем Нищего. Пусть Чудак побывает "принцем Андроном".

Через три дня пребывания меня из карцера провели прямо в баню, где уже раздевалась вся камера. Оксана тотчас сообщила: Ниса выставила топчан в коридор. Испуганная общим молчанием, пояснила при этом надзирателю: уберите, провокаторы несчастные... Сказала это тихонько, дежурил добрый Чудак, в общем, обошлось.

Приемщица белья, с широкой повязкой на глазу, схватила мою руку: "Мария Михайловна, вот встреча!" – Валька, хохотушка-грешница (у которой, кстати, и на волос нет понимания своей греховности). После скандала с "гнездышком" в будке* ее включили в этап на сельхоз. Чтоб не расставаться со своим Прутом, Валька заложила за веко кусочек туши от химического карандаша ("замастырка" по-лагерному). А так как она "мастырилась" разными способами уже трижды, несмотря на опухоль в полщеки, наложив повязку, ее все же этапировали. По дороге конвоир, толкнув ее, попал в больное место, Валька сбила с него шапку и злобно-проворно затолкала ее ногой в снег. Это уже "бунт". А тут догнал этап по другому адресу. Созвонились с начальством, присоединили, и вот Валька живет в желтой тюрьме. Живет припеваючи. Ее лечит окулист из города, "глаз почти прошел, я тут завбаней, он веселый, красюк, а уж кор-

* См. дальше.

мит..." – все, что Вальке нужно. "Ох, и бельецо я вам подберу, а что еще?"– Попросила хорошенько почистить мои вещи.

Белье все получили первого срока, то есть новое! В мой сверток был запрятан кусок мыла – может быть, самая большая нужда камеры № 1. Валька словчила для меня у своего "красюка" новые ватные шаровары. "Ваш бушлат и валенки я щеткой со снегом терла-терла, потом в сушилке растянула".

... Горсть орехов, пряники... Новая одежда, мыло. – Простак-надзиратель, юная полуграмотная воровка... Недумающим, невникающим легче позволить себе сострадать, быть добрыми.

В камере на вопросы ответила: Кашкетин не вызывал ни разу. А больше не говорилось. Сильней, чем в первый раз, была я полна мерзкой берлогой, своими там леденящими думами.

Соседкам сообщилось тяжелое молчание...

И с облегчением почувствовалось через пару суток – уже вхожу наконец в колею жизни камеры № 1.

После отбоя, чтоб отвлечь и помешать Зосе затеять очередную свару, старалась я поднести ей что-нибудь забавное. В этот раз развлекала сокамерниц шутливыми рифмованными "характеристиками" и пожеланиями грез-сновидений. Самой же мне хотелось не грезить, а просто спать.

Только смежила глаза.

– Иоффе Мария Михайловна.

До конца не проснувшись, вытаскиваю из-под себя, натягиваю штаны, влезаю в телогрейку и бушлат.

В ожидалке совсем не стояла: конвоир сразу открыл дверь.

– Вы не цветете.

– Вашим благоволением.

– Сами вы себя в подвал сажаете. Витаете где-то в облаках. Глупо и смешно. Под ноги смотреть надо.

Я поглядела на свои ноги в брюках, заправленных в большие мужские валенки. По инерции продолжая камерную игру, продекламировала: "Мы – упрямые, глупые, гордые мальчики, не меняем мы шкур и в голодном подвальчике".

Кашкетин фыркнул.

– Единственный допрос, на котором мне не скучно.

(Что ж ты, собака, со скуки душишь, убиваешь людей?)

– Сами себе яму роете. Неужели не можете назвать одно имя? Указать хотя бы одного врага народа?

– Одного?

Как тут было удержаться и без всяких решений, почти инстинктивно не захотеть сказать без слов, не таясь, кто в этом кабинете опасный и страшный враг людей?

Повернув голову, с минуту глядела на резиновую палку у края стола. Деревянная оправа успела залосниться. Изучающе осмотрела его руки.

Твердо уперла глаза в кашкетинские – мгновенно пронеслось в мозгу: с е й ч а с...

Он молча проследил путь моего взгляда. Он понял.

Отстегнул клапан кобуры.

– Наглость имеет предел.

Вынул револьвер.

– Встать! Руки назад. Идите. Не оглядываться.

Сам с револьвером, не надевая полушубка, пошел сзади.

Страшиться некогда дышать некогда ничего нет только замирающее сердце ослепшие глаза только все – к одной точке. К ней прибьет поток тьмы сейчас. Господи, я должна умереть на ногах...

Вышли во двор, за желтую тюрьму.

Все заплакано оттепелью. Темный длинный сарай без окон. У входа фонарь. Остановились под ним.

– В этом зале вас прикончу.

Я повернулась к нему лицом. Сами вылетели слова, последние, предсмертные:

– Стреляйте. Сегодня я, а завтра вы.

Смотрю, не мигая, на Кашкетина. Ни на секунду не отрываю взгляда. Гляжу в зрачки своей судьбы. Вижу – он бледнеет, сереет, куда-то сквозь очки смотрят неподвижные, оловянные глаза. Лицо мертвеца.

Прошло с минуту. Дулом показал на противоположный проход, между тюрьмой и забором штрафного, обратно во двор.

Отомкнул калитку, взвел курок. Меня пропустил мимо себя.

– Идите к корпусу, не бежать.

От калитки до корпуса – шагов сорок. Сколько моих, середина пути выше пояса погружаюсь пара шагов и... Еще?

Так всхожу на крыльцо.

Надзиратель удивлен: одна.

В камере, задыхаясь, рванула застежку бушлата. Не перешла к своему месту, а только подвинулась от двери, прижимаясь к стене, слепыми, вздрагивающими пальцами шаря по ней. "Упадет!" – Лариса вскочила, устремилась... Из двери крупно шагнул Кашкетин. Сам Кашкетин...

Он посмотрел на отпрянувшую Ларису, с которой очутился лицом к лицу, на сидящих на полу перед ним, застывших женщин.

– А где же Мария Михайловна?

Лариса показала, он обернулся.

– Ах, вот вы... – Постоял, посмотрел, ушел.

Мои губы дернулись. Разделил. Легла.

Подняв брови, Лариса стояла посреди камеры. Зина приложила палец к губам – тише, что-то случилось, на ней лица нет, пусть уснет. Но остановить Ларису, когда ей не терпится что-то выдать, – дело нелегкое. И с видом поэта, осененного новым видением, капитана, открывающего неведомый остров, произнесла громким шепотом:

– Попался. Верьте моему многовековому опыту. Как смотрел, глаз не мог оторвать! Говорю вам – попался! Поймите, Муся.

Ползу в недрах болота. Перед закрытыми бессонными глазами невозможные колючие пятна, подтеки стреляющих красок. В спутанных болотных травах, в слипшейся тине что-то кишмя кишит. Тупые ножи свербящих, проникающих, неведомых звуков в ушах.

Так промучилась до подъема, когда за мной пришел конвоир.

– Это утро оставлено для подписи. Оно может быть началом многих или – последним, – встретил Кашкетин.

Стояла молча. Безучастно глядела мимо него. Меня чуть качало. Повели обратно.

Только уселась на шаровары – вытаскивай, снова напяливай "постель" на себя. Вызов к лекпому.

Он ярко-рыжий, весь закапан веснушками.

– На что жалуетесь?

– На судьбу.

Лепила приступил к осмотру.

– Цинга уже разгулялась. С сегодняшнего дня – больничное питание. Вызову на уколы. Есть просьбы?

– Дайте сначала выспаться, потом вызывайте.

– При цинге сонливость – симптом болезни. Спите. Возьмите с собой пророщенный горох и моченую рябину. Витамины – три штуки в день.

Не сон? – Вчера спустилась до последней ступени к старику Аиду, сегодня шествую Церерой с руками, полными произрастаний.

... ("В произволе всегда много случайного, может вдруг повернуться и по-другому". Костя...)

– Экзотические фрукты! – восхитилась Лариса на горох и рябину.

Зося, поднося одну руку ко рту и одновременно другой забирая новую порцию, толкнула локтем Нису: "По одной бери..." и к Ларисе: "Чего хватаете, как на пожаре?"

Шабаш чревоугодия, кисловато-горького, ароматно-сладкого упоения, вкусовой внепайковый разгул.

Мой профессор, считаю, вам всегда не хватало пронзительности переживаний – позавидуйте мне хоть в этом: самая острота зигзагов, соседство, почти соприкосновение неминуемого конца с вынырнувшей жизнью – делает ее какой-то промытой, новой.

Когда покончили с экзотикой и нежно-лиловым драже, улеглись. Лепел наш прекрасен, красен, красен – это уже почти во сне..

Проснулась, лежу, не шевелясь. Даже Зося молчит – берегут мой сон.

Сколько же раз можно тащить человека на плаху? До того, как в последний раз его обымет отрешенное чувство пловца перед девятым валом, которого уж ничто не остановит?..

XI

Допрашивал не ночью, а после обеда, коротко, в строго официальном порядке, в присутствии обоих помощников. Первой Иоффе, за ней Козлову. "Остальных вызову после", – пообещал на прощанье. Зине послышалось в словах его что-то угрожающее. Даже Зося приумолкла.

"Дорогой друг, пользуясь тишиной, берусь за письмо. У нас по-прежнему трудно, настороженно. И все же – больничное питание и сам факт его оказались сказочной живой водой: угроза обвала глыбы над головой будто ослабла, как-то отдалилась. Отпустила надолго? Вряд ли. Но сейчас сама не знаю откуда, чувства будто встрепенулись, подняли перышки. И... нечем их занять. Нет им здесь никакой нагрузки, ни красок, ни звуков, ни ситуаций. Поэтому все взъерошено не наружу, а внутрь, царапает, бередит..."

Тихо приоткрылась дверь. В щель просунулась голова Чудака. Сморщил нос, подвел к нему губы трубкой и, втянув воздух, обратился ко мне:

– Чего молчишь, не рассказываешь? Это можно, – разрешил он.

– О чем рассказывать?

– Которая сидела на черепахе, из ейного хвоста ноги кроила. А потом царь ее бросил. Куда ж ей теперь без хвоста? А того, нищего Андрона, прынец который настоящий, небось в зону его? Или простил, дал тысячу, он женился, коней во двор привел... Я сменился тогда...

В коридоре шаги. Чудак быстро звякнул замком.

После отбоя стали укладываться. "Сейчас опять нас, одну за другой позовут", – вздохнула я. Зина поглядела на меня затравленно, откинула голову к стене. Не она, ее страдание выронило слова:

– Протяни подольше, сил у меня больше нет, – голос ее снижался, иссякая.

Зосю так и взмыло:

– Разве Мария Михайловна захочет разговорить его? Интеллигентики, эгоисты, дрянь чистоплюйная. Человек у всех на виду погибает, а им главное – не измазаться, беленькими остаться, не подать голоса.

(Глупенькая Зося, голос-то – как у мыши, и раздавят меня – как мышь.)

Лариса уставилась на меня.

– По-моему, к Зосе стоит прислушаться. Заговаривали же вы урок. И надзирателя в вашей интерпретации проняла драма русалочки. Думаете, духовные интересы наших следователей намного выше, чем у Чудака?

Ниса ткнула носик в сказанное, поддела его, как бумагу на прут, и рассудительно решила:

– Может получиться. Страда выколачивания из этапа "врагов" в основном, видимо, завершена. Безработица!

– Ну, почему не попробовать? Почти уверена, даже у следователя, даже у такого, приходит минута, когда обрыднет жестокая, людоедская и

просто глупая канитель, когда вдруг захочется встряхнуться,отвлечься. Нащупать бы тебе такую минуту..., – как-то непохоже на себя, тихо говорила Зина.

– Это все слишком высокая для данного случая материя, – отрубила Лариса. – Его просто, как мальчишку-неслуха, надо занять, пригвоздить к месту фабулой. Да, наконец, он сам взывал к вам. Перед несостоявшимся банкетом.

Сочувствие вдохновило Зосю на куда более "веские" слова.

– Полно, – пыталась я остановить поток брани, – говорят, у диких зверей, что питаются кровью, зловонное дыхание. У него, наверное, тоже. Но, допустим, уж так и быть, специально для вас, Зося, зажму нос и сделаю попытку задержаться подольше. Уверена, что вы же первая крикните: "разговорчики замолчать!" Еще и выругаете меня. Доброе дело никогда не остается безнаказанным.

– А как же не выругать? Вы там не были, я там была. Я видела Раину шубку. На ней были пятна... – Зосины глаза почернели, – кожа сплипась, покоробилась...

– Да не мучайте себя и других. Никто и не будет...

– Ах, не будете, не желаете? Мало вам тех, кто полег, еще и нашу Зину угробить надо? – И так далее. То с одной стороны, то с противоположной, все накопляя отчаяние, горе, злобу.

Первой не выдержала, конечно, Лариса.

– Если найдете Зосю удушенной, не ищите виновных, знайте – это я.

Таких слов еще не доставало. – Зина со вздохом села.

– В последнее время не тянет на сахар. Нате, передайте Зосе.

Лариса приняла и, откусив мимоходом кусочек, вручила остальное по адресу.

Уже когда все улеглись, Ниса приподняла голову и, округлив глаза, лукаво преподнесла:

– Знаете, Муся, поверните как-нибудь на лагерную любовь. Начните с урок, у них забористей. Вот будет здорово! Уши развесит и про Зину забудет. – Нису ее идея так увлекла, что высказала ее почти в голос. Чудак цикнул в волчок: "по карцеру соскучились?" – Угомонились.

Тянуть канитель с ответами, занять сколько можно "Зинино"время. Необходимо и неотложно.

... А что, если попытаться осуществить целиком Нисино предложение? Можно подать "любовь" под густым соусом нашего быта, все лагерное житьишко вывернуть наизнанку. Что бы он на это?

... Они там косят насмерть рабочих, литераторов, педагогов, инженеров, домохозяек, убивают отцов и матерей, пускают детей в беспризорники и воры. Уничтожают села и деревни. Такое мало решить, приказать – надо еще провести в жизнь. Нужны проводники чудовищных решений.

... Самовластный анчар, паук-баобаб, запускающий во все стороны новые и новые ростки и сети, объемлет своими широчайшими разветвлениями, своей волей, своим ядом все подвластное ему пространство. Ча-

стичка баобаба, малый росток, крючок-зацепка паутины – Кашкетин. Все свойства центра передаются, осаждаются в нем... Сделать попытку, попробовать понять. "Завести"... Ведь как-то он среагирует, что-то скажет. Послушать его. (А может быть, когда-нибудь, когда-нибудь поведать об услышанном...)

Опыт третьего допроса показал: продуманные, подготовленные слова могут принести плоды, битва – на тот момент – была выиграна. А тут всегда "тот момент".

Внимая уговорам сокамерниц, – почти не возражала, потому что бездействие, неподвижность становятся уже нестерпимыми.

Хоть какое-то движение воды... (А не потопит ли оно меня?..) Попытаюсь остерегаться в этом мире опасностей, капканов, волчьих ям. Узнавание, понимание настоящей правды – стоит риска. Так, мой профессор?

Рядом Лариса шумно вздохнула, вопреки обыкновению тоже не спит, опасается вызова. Шепот:

– Я не была на Воркуте, вы многое слышали о Кашкетине, что – только исполнитель или скот до конца и без просвета?

Так задумалась, что не сразу вникла в сущность вопроса. Потом взгляд мой ушел за пределы тюрьмы.

– Зоология, всякие красноглазые волки изучаются не по слухам, а только на живых особях. И н е вдруг...,– медленно начала, но загремел ключ в замке. Переступая порог, уносила с собой сразу ушедшие вглубь и оттуда резнувшие глаза Зины.

(Наутро Ниса мне шепотком:"Как увели вас, Лариса переползла на ваше место, чтоб, как всегда, безапелляционно заявить:"Успокойтесь,Зиночка, упреки Зосины не пропали бесследно, Мария уж постарается задержаться подольше. Не только из-за большой привязанности к вам. Тут еще другое: алчность, дотошность газетчика. Я этот народ знаю".)

– Отсыпаетесь?

– Да.

– Почему ж такой усталый вид?

– Ступени круты.

– В лагере лучше?

– Всяко бывает. Раз я видела, как матери прощались с рожденными в лагерях детьми. Люди в военной форме увозили их неизвестно куда. И случайно через несколько месяцев была при получении извещения: "дети погибли во время эпидемии". Все одиннадцать увезенных в тот день малюток.

– Ничего такого больше не будет. Никаких встреч, никаких детей. Это безобразие мы поломали.

– Поломали?... Основной лагерный возраст примерно от тридцати до сорока лет. Физиологи сказали бы: производящий период. Правда, при голоде, тяжелой работе многие естественные процессы заглушаются, тормозятся.

Есть в лагере группка, от нее идет добавочный голод большинства работяг, которых открыто и бессовестно обкрадывают, и одновременно сытость меньшинства, некоторых придурков, их подкармливают частью ворованного. Группа ворующих состоит из поваров, завхозов, завскладами, экспедиторов, возчиков, шоферов, старших санитаров больниц и так далее. Они хорошо знают, что изменчивая лагерная судьба завтра же может их поставить в зависимость от бригадиров, завмастерскими, техников, инженеров и т. п. Кроме того, надо ладить с охраной, комендантами, нарядчиками, врачами, завбаней, парикмахерами, портными, сапожниками – всех не перечислишь. Все нужные люди, всех надо кормить. Подсчитали: до рядового лагерника доходит едва половина полагающейся нормы...

(Заметила: Кашкетин внимательно слушает и как бы просто чиркал карандашом по бумаге, на самом деле записывает, пишет. – Отлично, то и требуется.)

... Кормить приходится также их подруг. Потому что с некоторой сытостью начинают давать о себе знать естественные человеческие чувства.

– Все зря. Надзору дан строжайший, категорический приказ.

– Да, верно. Однако пружина жизни, рвущейся из-под земли, куда ее затоптали, иногда оказывается стремительней надзора. ... После вашего отъезда наступила...

– Знаю, знаю, – прервал он с гримасой раздражения.

(Ничего, рискну, послушай еще разок.)

– Хочу дать показания о лагерной любви, тут без описания обстановки не получится.

(После его отъезда наступила тишина, как между выстрелами. В низкой комнате коптит на столе фитилек в банке. В каком углу ни стоишь, куда ни сядешь, непременно все время смотришь на него – будто факел с черным дымом, закоптил, отравил воздух, обитателей.

Так торчит, чадит, наводит на всех холодный ужас и после отъезда Кашкетина длинный барак с наглухо забитыми окнами. Тюрьма – молох. Туда только входят... Вокруг все время шагают не вохровцы, а часто расставленные солдаты-часовые с винтовками наперевес.)

Строгости сейчас – небывалые. Показываться разрешается только в лагерной форме. Ничего цветного. Даже за красную головную косынку сажали (потом, правда, опомнились). Разделить стеной мужчин и женщин, как на других ОЛПах, здесь невозможно – поступление новых этапов временно задержано, а тянут высоковольтную линию. Женщины оттаскивают носилками землю, помогают при постройке будок. Да и откатчиками в шахте работают в основном они же. Но если работяга издали перебросится с девушкой словцом или, не дай Бог, поздоровается за руку, обоих тащат в кандей. Коменданты и надзиратели, сами запуганные, просто озверели. Поверки с выводом на мороз и выгону на улицу не только утром и вечером (с бесконечными "не сходиться, давай сначала"), но и ночью, светя в лицо спящих "летучей мышью", осматривают, перегля-

дывают, пересчитывают. А днем удивляются: рабочие квелые, работают плохо, сплошной убыток. (Карандаш, блокнот.)

... Момент, пожалуй, подходящий для попытки реализации идеи Нисы. Блатные, действительно, подчас находили довольно неожиданные решения для возможности "крутить любовь". Среди других рассказала и последнюю воркутскую историю. – От вечерней до утренней поверок бесследно исчезали лучший плотник и его подсобница, большеглазая Валька. – ...У них широкий топчан с пышной постелью, над столом висит фонарь "летучая мышь". А снаружи, на фанерном листе во всю дверь – череп, кости, пересеченные красной молнией, и надпись: "Не подходить, опасно для жизни". – Весь семейный уют помещался внутри будки, провод от главной магистрали – фальшивый...

Ну, Зося, пока что – клюнуло. Ниса права, этап, видно, почти закончен "обработкой". Ничего увлекательного, кроме водки, не осталось.

Записывал, похоже, дельно. (А кто другой посмеет рассказать необходимое высокому начальству, когда лагерные начальнички – сплошное воровство да скандальные склоки, если не поделят смазливую деваху.)

В "неделовом" слушал, не перебивая и забавляясь. Рассказ – "вроде отдыха скотине", как говорил пахан Михайло.

На другую ночь, вспомнив будку, по-мальчишески фыркнул:

– Урки... У них все необузданно и залихватски.

– Как сказать. У зэка с политическими статьями тоже пульс живой, бьющийся. – И прибавила, быстро взглянув на него. – Поток, вырвавшись из теснин, дает свою – и безудержную – силу.

(Ничего, прошло, можно продолжать.)

– Наивысшая опасность часто порождает острую жадность к жизни. А тут еще северная весна путается. Кругом смерть – и кругом бешеный рост, хватание солнца, азартная плодовитость трав, цветов, ползучего кустарника. Жизнь подвластна единым законам, может лихорадка из растительного мира поступает в кровь людей. Чем ближе ходила смерть, тем больше будоражила весна, потому что люди были люди и, главное, они были молоды.

... Большое лагерное подразделение ремонтных мастерских. Много тысяч заключенных. Более старая, обжитая, не такая свирепая в климатическом отношении часть огромного лагеря. При ОЛПе "пересылка" для проходящих дальше, в Заполярье, этапов, в основном – "КРТД".

А тут есть клуб, все исполнители, понятно, зэки. Наряду с любителями выступают артисты со всесоюзным именем. Московская опереточная примадонна, подобрав пышноволанный (из марли) подол, изящно размахивая им, под аплодисменты работяг поет "Карамболина... Карамболетта..." Об этой Карамболине и речь. О Карамболине с ее милым.

Все смены вооруженной охраны, надзора, комендантов, все нарядчики участвовали в обысках и розысках. Пересмотрели, перерыли все– бараки, уборные, баню, кухню, прачечную, вещкаптерку, все склады,

инструменталки. В столярной мастерской разбирали штабеля досок, разрывали кучи опилок. В мастерских залезали с фонарями под ремонтируемые трактора, станки, автобусы, бульдозеры, грузовики. Кабины и кузова тоже, конечно, подвергались тщательному неоднократному осмотру. Отодвигали от стен листовое железо, разрывали годами копившийся лом, всякую ржавчину. Под хламом ненароком отыскалось самое дефицитное – инструмент, бунты троса, материалы, затерявшиеся или "заначенные" работягами на крайний случай: не спрячешь – переведут зря...

(Кашкетин не выпускает из рук карандаш, уже открыто, не таясь, заполняет страницу за страницей большого блокнота.)

– Вот когда широко открылась картина лагерной бесхозяйственности, нерадивости, запущенности. Усугубляемых произвольной, бестолковой переброской специалистов и других работников с ОЛПа на ОЛП, по принципу "как хочу, так и ворочу". (... Блокнот ...)

Шурупы и шайбочки отыскались, что в данном случае никого не интересовало, а двоих рослых, стройных заключенных – не найдут нигде! Представление не закончилось и после подъема.

Рано утром Карамболина вернулась в барак. Свежа и весела.

– И начала, конечно, тут же врать напропалую? – спросил Кашкетин.

– Выдумки у нее хватило бы, могла б попытаться выкрутиться. Но с нее еще не схлынуло полноводье украденной было жизни. Радостью, нимбом невинности сияли над головой тонкие волосы, выбившиеся из прически. Этой победительной радостью она чувствовала себя вознесенной над теми, кто в пыли и в грязи крысами ползали по углам в поисках ее. Ликование в крови не давало сразу снизить себя в мелких уловках, ей захотелось в полной мере насладиться своей победой.

Не прячась, стоя посреди барака, она широко улыбнулась вышедшим навстречу.

– Какой шумный успех, всю ночь вызывали! Публика жаждала видеть, да никто на вызовы не показался. А нашли бы...

Никогда не дознались бы – где. Но сама Карамболина, жертвуя убежищем, торжествующе поглядела сверху вниз на комендантов и бросила с веселой издевкой:

– Под низким потолком на крыше голубого автобуса... Кажется, это мой лучший выход...

Следующий был, конечно, в карцер-кандей.

Ночь – и снова вызов. (Хорошо, что днем дали выспаться.)

Кашкетин каким-то лающим храпом:

– Здрсте. Сядьте.

Обычно гладко зачесанные волосы – во все стороны, и весь какой-то встрепанный. Глаза налитые, бегающие.

Я наклонилась поднять упавшую с колен ватную рукавицу. В корзине среди мятой бумаги блеснуло стекло бутылки. Вот оно что. – Тут заметила на столе початый стакан.

Разложил бланк протокола, писать вдруг стал карандашом. Задавал мелкие, ненужные вопросы, сбивался, зачеркивал, наконец с размаха бросил карандаш.

– Цедите – да, нет...

Стал прохаживаться по кабинету.

– Слова находите, только чтоб Кашкетина – в анекдот? От дружков с Кирпичного научились? Отвечайте, когда спрашивают!

– Вы же знаете, с Кирпичного ничего не доходило.

– Они сами там доходили. – Грубо рассмеялся, резко оборвал смех, заговорил, будто захлебываясь, быстро, злобно:

– Изобличители хреновые. На них управа только пуля. Завели устную газету. Одни – новые профессора за народные денежки – "подвергают анализу", поносят. Другие, в "Подначнике" Вилки вашего, высмеивают, гаерствуют. Их – я бы снова...

Злобно крякнул, продолжал:

– Заоблачники проклятые. Догогочатся... как другие – уже. И по делу. Москва про все знает. Друг друга веселят там... За счет Кашкетина.

Хлебнул из стакана, походил, что-то бормоча. Сел за стол.

– Ну, рассказывайте.

(... Молчу: нет, уж извините, сегодня вас послушаем.)

Он и не ждал моего "рассказывания". Сам был в раже.

– Пирогов – да, Пирогов! – говорил: крики с операционного стола укрепляют нервы хирурга, делают руку тверже, вопли, боль – мелочи по сравнению с благой целью. Цель – вот главное. Узнать – все! – иначе не пресечешь... – Махнул рукой, захлебнувшись, полез в карман. Вдруг: – Неужели вы со всеми вашими профессорами и главными закоперщиками с заводов не понимаете,что сюда поступают с уже готовыми приговорами? Наше дело – заставить признаться, самому рассказать и подписать содеянные преступления. Назвать всех сообщников...

Схватил стакан, выпил все до дна.

– Затвердили – Кашкетин, Кашкетин... А что он такое особенное? – Хлопнул ладонью и, ударяя снова и снова по столу кулаком, кричал: – Все, все Кашкетины! На них все и держится. И будет всегда – пока валяются на полах растопыренные тела. Чтоб зашевелились, заговорили поганые языки, достаточно только насту...

Хотя был совершенно пьян, тут он на полслове осекся. Закончил с пьяным хохотом:

– ... на чувствительные нервы...

Закашлялся, быстро выскочил за дверь. Вернулся очень бледный.

– Ведь все обкомы, горкомы, ЦК республик заражены были вашей троцкистской ересью. Великий Сталин на пленуме (это августовский, 27 года) сказал: "Разве вы не понимаете, что эти кадры можно снять только гражданской войной?" В перерыве о "радикальном замахе" говорил... А мы все мямлились. Пока Великий Провидец через год, на Ноябрьском пленуме, прямо заявил: "Чем больше мы проявляем халатности в отношении оппозиционеров, тем больше их становится внутри партии".

И проинструктировал наших начальников, объяснил задачи, методы. Влил в них жизнь. А они нам все преподали. И мы все сразу поняли.

Встал, обоими сжатыми кулаками о стол оперся.

– Если покрепче, – все выложат. Проверено. Мы – практики, а не слюнтяи... Мы – сила! – вот мы что... Вам и не снится, какое могущество, какой аппарат – НКВД.

– А какой?

Натыкаясь на стулья, он беспорядочно засновал по кабинету, сыпал на ходу фразы, брызгая, повторяясь, путаясь в словах.

– Аппарат агентурный, следственный, оперативный... Контрольный, карательный... Особые всякие. Кадры. Весь транспортный аппарат... Сам не знаю, еще какой. Тюремный, лагерный, на пересылках. Центральный, республиканские, краевые, областные, районные. Погранохрана. Надзор, конвой... Это еще кроме агентуры в заграничной капиталистической контре, у всяких эйнштейнов...

Сел, голову опустил на руки. Уставился прямо на меня мутным, тяжелым взглядом.

– Но бывают же и неудачи, выбывают..., – пролала я простенько-наивный голосок.

– Да если этих людей, всех сразу, снять с работы, – найдется на их место вдвое, втрое больше, сколько угодно других. Сколько угодно! – повторил он.

Прошелся, глянул в темноту окна, снова сел.

– Вы все – "злодейство, Кашкетин"... Да каждый может в аппарат попасть, как на призыве новобранец. Кто нужен, кто понадобится, – того и призовут. Никто не посмеет увильнуть. Прикажут – управятся не хуже моего, один черт.

Нажимая на кнопку звонка, закончил:

– Служебное поручение начальства – Вождя. А для нас, для всех – общедоступная дисциплина. Понятно?

– Бела, как мел. – Обратила в камере ко мне лицо Лариса. – Муся, скажите мне. Я – могила.

– Могила, но открытая. Давайте спать.

Но спать не пришлось. Затошнило, еле до параши добежала, вырвало, аж в пот ударило.

Затверженные уполномоченным из Москвы слова Великого на пленумах "... все больше становится оппозиционеров внутри партии...", "...эти кадры можно снять только гражданской войной...", да еще о "радикальном замахе" – можно поставить жутким эпиграфом к началу всенародной трагедии 30-х – 40-х годов.

Как вытекает из затверженных Кашкетиным цитат, началось с пыток, убийств, массовых многотысячных расстрелов троцкистов – на Воркуте и Колыме. За ними – уничтожение всего поколения Октября, гражданской войны, "зараженного троцкистской ересью"...

Раз "все больше становится оппозиционеров внутри партии" – а это прямая угроза восхождению Великого, – где уж тут медлить? И пускаются в ход самые чудовищные мотивировки для расправы: покушения, готовность к вооруженному восстанию – вплоть до тайных сношений с капиталистическими странами. Вплоть до немыслимых процессов.

Процессы по существу и замыслу – над Лениным, Троцким, Бухариным, над Октябрьской революцией: к т о ж е э т и в о ж д и, которые действовали совместно, опирались – исключительно и только – на тех, что сейчас сами признаются в изменах и шпионаже? И что же это за революция, к у д а могло вести такое руководство рабочие массы?

Чтоб "признания" прозвучали от самих и всенародно, – было твердо преподано Вождем: "применять на допросах силу" и "бить, бить, бить" – инструкция Ягоде со стороны Вождя. – Исполнителей.

"С к о л ь к о у г о д н о!" О чем говорил, – ему хорошо известно. Спьяну приподнял завесу над трясиной страха, развращенности, обезличения до "всегда готов" к любой бесчеловечности: уйду тебя, справлюсь "не хуже" с толпами, чтоб я мог остаться жить. Жирно жить.

(... Все его слова, усмешки, реплики, видные снаружи чувства – улавливать, крепко запоминать.)

Утром вызвал лекпом, на укол. Пожаловалась. Лепила помял живот, боли не было.

– Рвота чисто нервная. И, когда вышел из дежурки санитар, тихо прибавил: – Держите себя в узде. Иначе пропадете.

– Спасибо. Есть – в узде.

В субботу, воскресенье, понедельник – все спали. Вторник, только уснула – меня.

... Абсолютно трезв. Подчеркнуто сдержанно вежлив. Совсем по-другому. Со снисходительной полуулыбкой негромко вспомнил:

– Карамболина... Оперетка. Кордебалет.

(Поняла: приглашение рассказывание продолжать.)

– Вряд ли тут дело в одной профессии. Люди не всегда могут уберечься от самих себя. Если, затянув тетиву, распрямлять лук, дуга уродливым горбом выпрет в другую сторону. Связанность всегда оборачивается неистовством.

... Сангородок. Ночь. Отдежурила сестра – настоящая золотоволосая Лорелея. Завтра из ее палаты выписывается больной – бледный моряк. Они полюбили друг друга той исступленной, ослепшей от счастья, от горя, похожей на отчаяние любовью, когда кругом ледяная тундра, запреты, одиночество, полная безнадежность. Когда только света на свете – их любовь, когда они друг для друга – неотъемлемая часть самого их дыхания. Завтра он уедет, будет за многими холодными километрами, за колючими оградами. Они никогда более не встретятся.

И вот пропали оба.

Осмотрены все бараки, палаты, подсобные помещения, дежурки, жилье медперсонала. Подняты больные, фельдшеры, врачи. По нескольку раз обысканы родилка, операционная, процедурные, перевязочные, рентгеновский кабинет. "Прочесывали" цепями. Больные не спят, стонут, сестры с ног сбились. Обшарены чердаки и подвалы. Выброшено из тюков грязное белье. Сам начальник забирался на сторожевые вышки. Проверял вахту и проходные. Осмотрел на всем протяжении зону – ни вмятины. Ну, как доложишь, что исчезли сестра с больным. Скандал, зарез.

Утром в сангородке, по видимости, все вошло в свою колею. Бдившие всю ночь пошли соснуть. Доктора обходили, выслушивали больных. Один хирург делал операцию, другой отправился в мертвецкую на вскрытие умершего зэка.

Труп, с вечера приготовленный на столе для секции, лежал в стороне на полу. Стол же был пуст, с угла его свисал то ли обрывок бинта, то ли длинная тряпица. Доктор раздраженно сдернул ее, чтобы выбросить, но, раздумав, собрал в горсть и незаметно сунул в карман халата.

Моряк спал в своей постели. Лорелея с голубыми тенями под глазами молча и сосредоточенно накладывала больным повязки.

Тряпочка, подобранная доктором, оказалась лишенным веса кружевным женским бюстгальтером.

В сангородок попали тогда всего на пару дней, пароходом, доктор привез нас, несколько человек, на консультацию со специалистами.

После поразившей всех ночи он негромко обратился ко мне: попробуйте поговорить с Лорой, она как-то нехорошо молчит.

В хирургическом женском корпусе "мертвый час", в дежурку почти никто не заходил.

– ... Мы с ним – единый организм. Расчленить его, это совершить убийство. Я потеряла не то голову, не то сердце, жить не могу. Уйти из жизни надо тихо и просто, до последнего момента оставаясь в том, что было. Было!

– ... А где же та гордая, злая, фанатическая решимость, с какой шли вы к своему неповторимому, мгновенному счастью?

– ... Здесь, в Заполярье, мы не видим дня. У нас только ночи. В 5 ноль-ноль поднимаешься. Прежде всего узнать – тут ли валенки, что поставлены сушиться, или они уже на ком-то другом, подсунувшим на их место свои ЧТЗ. В черные 5 тридцать узнаешь на разводе – ТФТ (тяжелый физический труд), где непременно сядешь на 300 грамм хлеба (а то и вообще в карцер попадешь) или где-то пополам с туфтой сработаешь норму; остаешься на месте или проэтапят неизвестно куда, может быть, в никуда... И все страхи, ожидания, тягости, все наши опасения – до того еженощны, однообразны, одинаковы, что кажется, будто ночи эти – всего-навсего звенья, части, из которых состоит одна ночь будничной пропасти-беды.

Н о ч ь – л а г е р ь.

В палатке, на разводе – все кучно, скучно, забыт жар жизни, не живем – коптим, как наши ржавые коптилки на всю ночь.

... Из пусто-тягостной будничной тьмы вы оба героически-смело, безоглядно и безудержно вырвали солнечно-золотое счастье, отдались ему во всей его остроте и проникновенности.

Это – золотая ракета, для полета которой нет препятствий ни в страшной неправдоподобной обстановке, ни в ждущей суровой расплате. Немыслимое, невероятное – и тем более незабываемое, небом посланное – Чудо. И, может быть, на месте смерти зацвела новая жизнь. Живите, помните всегда – Чудо с вами.

Кто виноват, что жизнь отрезана от жизни, застряла в колючей проволоке, что она пропустит все на свете, что приходится нахлестывать, догонять ее – в мертвецкой?

Никто, конечно, не воспоет их ни в стихах, ни в песне. – А тут есть о чем вздохнуть...

Все довольно спокойно. Вопрос – и негромкая реплика, отвечать мне, собственно, нечего.

– В вашем этапе нашлись разумные люди, я уже вывел их в центральное здание. По-вашему, по-штрафному, уже не живут.

(Не живут. Ползают по заблеванной клеветой, предательством земле. Бывшие люди, ныне – пресмыкающиеся.

"Все может статься с человеком" (Гоголь)... если нечеловек насядет на него.)

Кашкетин продолжал:

– Они по-большевистски распахнулись, сообщили все, что им известно. Написали на бумаге имена врагов, без всяких вопросов, сами, своей рукой.

– ... ибо: – "граждане, платите, не ожидая требования кондуктора, не ожидая штрафа..."

Я еще не закончила своей фразы, когда без стука открылась дверь, оба помощника Кашкетина вошли и встали у стены, прислушиваясь. Кашкетин вскочил, смял лежавший перед ним лист бумаги, хлопнул его об пол, заорал: "Встать, руки назад, такими показаниями только..."

Никаких показаний я не давала, ни одного слова он в тот раз не написал, скомканный лист был чистым. Вошедшие что-то сказали старшему, достали из его шкафа свои меховые шапки. После ухода их Кашкетин как ни в чем не бывало поднял с пола ком. Бросив его в корзину, занял свое место за столом.

– Садитесь.

И сквозь зубы, глядя в стол, еле слышно процедил:

– Умна, а ничего не понимаете... Завтра вызову.

"Завтра вызову". – Уже не только ожидание-боязнь, но появилась какая-то форма ожидания-интереса. Моя тюремная жизнь расширилась, более того – получила смысл. После довольно отвлеченных раздумий ("писем") будто кто-то дал мне конкретное задание: смотри, вслушивайся. Сумей подойти. Примечай каждую его черточку. Постигай двигатели поступков.

Конечно, это потребует напряжения, осторожности, хождений по самой грани. Острой грани, потому что он пропитан своей профессией и среди полного, казалось бы, добродушия не забывает о "работе".

Есть веления момента. Выполняй его приказ, свой урок.

В безжизненности вдруг повеяло какой-то жизнью. – Да, но одним показом курьезов, порождений лагерного уродства прокормить трудно. К тому же отсюда не вытекло ни одного диалога, в том-то и дело. Необходима свежая тема. Может, поведет его на мистику? Свернуть к теософкам? Попробуем так...

XII

– ... И что же, эти гороскопы за пайку хлеба совпадают?

– В большинстве случаев – да.

– Ясновидение?

– ОЛП – замкнутое, тесное место, тут друг о друге узнать можно многое, об остальном – догадаться. Среди теософок есть проницательные женщины, неплохие психологи. Их откровения – результат своеобразного следствия. Вам ведь тоже полагается быть психологами. – Я поймала циничный взгляд Кашкетина, не смогла не ответить на него вопросом:

– Это способ действия слишком филигранен? Или, наоборот, устаре-

ло-кустарен? – Бросила выразительный взгляд на дубины. Сейчас разозлится... По телу пробежала противная, унизительная дрожь, осевшая в ногах холодным студнем.

Бросил на стол карандаш.

– На пилу можно брать отдельные гнилые деревья. А когда заражено незнамо сколько, сей лес уничтожают или просто целиком сжигают. – Тронул кобуру.

Просто... Молчу, не дыша. Жду, что дальше.

Неожиданно сказал раздраженно, зло и в то же время как-то обиженно:

– Вы представляете себе все примитивнее, чем есть на самом деле. К приезду вашей группы я ездил специально знакомиться с делом каждого. И читал, и расспрашивал. Вами, Мария Михайловна, пришлось заниматься особенно долго.

– Почему?

– Не мог разобраться в показаниях. Одни говорили: "из тех, в ком до сих пор пафос гражданской войны не остыл", а другие: "в основном – блестящая светская женщина..."

Я вздрогнула, откинулась на спинку стула. Профессор, дорогой мой, это могут быть только его слова, он спасал меня как мог, боже мой, и он в руках Кашкетина!..

– Взволновались, Мария Михайловна? Да, профессор, я его допрашивал. Но можете мне поверить, он жив, невредим, читает лекции, пишет книжки. – И прибавил скучным, деловым тоном:

– Никто его не тронет. За границей известен, да и нужен на своем месте.

Поняла – не лжет. Берут, значит, не по вине, а в зависимости от ситуации и степени надобности "на своем месте".

– Хорошо говорил, это он умеет.

– Все, кроме него, плохо?

– Совсем другое, я же сказал. И обе стороны правы. Сам удивляюсь. – По своей привычке прошелся по кабинету.

– А профессор умен. Не то что... – Он назвал фамилию старого искусствоведа, с семьей которого я была знакома домами. – Вы его знаете?

– Нет, не знаю, имя, конечно, слышала.

– Вот послушайте о нем самом...

В своей камере все пересказала так:

Звонят по телефону из НКВД.

– Вы здесь нужны. Прислать за вами или сами приедете?

Профессор-искусствовед обомлел.

– Нет уж, я сам...

– Пропуск в таком-то окошке получите.

Семья в непередаваемом волнении. Вечером то один, то другой заходили друзья, что посмелее, рискнувшие заглянуть в уже помеченный дом. Разговор один – везде тревога, смятение. Все устали уже от сознания не-

устойчивости, от настороженности, прислушивания к ночным шагам по лестнице.. Люди еле дышат от довлеющего над всеми движениями души, поступками – опасенья: как бы ни за что ни про что не влипнуть, не попасть в "черный ворон" – глухой темный фургон, какие во многих и многих числах угрожающе бороздят улицы. И друзья, как всегда в последнее время, прежде всего понизив голос, сообщали новости: такой-то исчез, ни на работе, ни дома нет, за тем-то "пришли", того-то "взяли".

Вопросы – почему, за что – тут ни при чем... Уж такая (всеми, увы! принятая) повинность: сидеть в тюрьме или умереть, как прикажут.

Искусствоведу советовали срочно отбыть в деревню,или какой-то срок ездить с места на место, или лечь на операцию, ну, пусть вам аппендикс вырежут. Чем попасть туда... Ученый с ужасом слушал, может получиться еще хуже. Но все сходились на том, что добровольно самому лезть в петлю совсем ни к чему. Одного-то, может, как-нибудь и забудут.

Не забыли. Тот же голос в телефоне очень серьезно спросил:

– Почему не приходите? Пришлю за вами.

– Приду...

Всю ночь не ложились. В углу сотрудники шептались – кто и что мог "довести"? Все пытались предугадать возможные "там" вопросы. Долго совещались, что взять с собой из вещей, из еды. Какую постель: потеплее – вдруг выйдет северный лагерь, или, наоборот, полегче, нести не так трудно.

Настало время уходить. Проводы покойника. Слезы на глазах старика, прижавшего к себе головку внука...

Далее рассказ шел от имени "пострадавшего":

– Ждать не пришлось нисколько. Дали пропуск, "а вещички здесь оставьте". Принял я таблетку валидола, поднялся на второй этаж. Вхожу, он ответил на приветствие, говорит мне: " Пожалуйста, определите, это подлинники или подделка?"– И подводит к столу, на котором разложены акварели. Я опешил: "Это все?" – "Все", – отвечает.Тогда я сказал ему прямо в глаза: "Ну,знаете, так с человеком не поступают!"– А он, представьте, удивленно спрашивает:"А как же, – говорит,– надо было поступить? "

Рассказ даже Зосю развеселил.

Подробности, которых не мог знать Кашкетин, были воспроизведены мною совершенно точно: все досконально еще в лагере рассказал мне один из участников "проводов" и затем встречи искусствоведа. Сам он и сейчас в Москве, оказался, очевидно, "нужен на своем месте".

Страх, обстановка склоки, зависть, корысть, месть, клевета и, конечно, перестраховка – вот что весьма часто выносит решение "надобности на месте" или воможности "изъять".

Тихо. Чуть слышны мерные шаги валенок по коридору. Все спят. А что сейчас у того, о ком шел рассказ? – Вспоминаю.

... Искусствовед нервно ходит по своему кабинету, ероша и без того лохматую бороду. – "Слышали? Мы продали наших Рембрандта, Тициа-

на, Веласкеса, Рубенса!.. Вы понимаете – Рембрандта, Тициана! И еще... Для единственной красочной вкладки в свой "Путеводитель по Эрмитажу" Александр Бенуа выбрал лучшую после дрезденской "Мадонны" работу Рафаэля – "Святого Георгия". Сейчас "Святой Георгий" – в какой-то частной коллекции Америки. Эти утраты никогда не восполнятся. Сотни тысяч, миллионы русских их не увидят. Художники не будут на них учиться. Эрмитаж, гордость всей культурной России, который числится в одном ряду с галереями Уффици и Лувром, теряет свое мировое значение..."

("А вы, элита "культурной России", вздыхаете в своих кабинетах да помалкиваете за их стенами", – подумалось тогда мне.)

Он продолжал: "Наполеон брал контрибуцию с Италии произведениями великих мастеров. Они – основа Лувра. Наш Эрмитаж разграблен своими, как врагом после поражения..."

Я у круглого стола рассеянно перебирала оригиналы иллюстраций, прикрепленные к рукописям. – "Ну, как?" – спрашивает, устало усаживаясь в свое кресло. Ответила без обиняков: "По-моему, массовые декорации дешевого театра". Старик вскочил с места, смешно поджал губы, волоски на макушке торчком. – "Да, именно, будто по трафарету, выделанному под рост одного человека. А "Идеал" в смысле кругозора, культуры, вкуса – мелкопровинциален, немощен. Неизбежно и все вокруг него, вся духовная жизнь мельчает, грубеет. Если же что выдается свежо, талантливо – не по инструкции,– попадает под ножницы..."

Отступления, милый старый чудак, караются не только ножницами. Но и топором...

Помолчав, горько-сокрушенно добавил, точно отвечая моим мыслям: "Да, смиренны мы. Как же ваша "свободная страна рабочих и крестьян", Страна Советов, объята одним чувством – "поесть бы, да чтоб, Господи, не тронули б – ведь и близких, и друзей за собой потянешь..."

Подходя к столь знакомой белой двери, подумала: за ней не только моя судьба, но и целиком весь мой внешний мир.

Расспросы о лагере. Пробовала рассказывать о случаях иного порядка. Пожар в отсутствии работяг, старик-дневальный комариные полчища самокуром выгонял. Дотла, со всем содержимым, сгорела палатка, спасенными оказались лишь скрипка – единственный музыкальный инструмент на ОЛПе – да томик Лермонтова. Двое на сплаве бросились в ледяную реку, чтоб спасти плот. Героически, трудом, талантом, остроумной выдумкой поставили заключенные удивительный спектакль...

Но записывать тут нечего, слушать неинтересно. И Кашкетин, не стесняясь, обрывает, всегда одним и тем же способом: спрашивает вдруг об отдельных зэках с моего ОЛПа, а иногда и о самых неожиданных людях. Бывает, при этом возникает разговор вроде такого:

"...Мейерхольда знали?" – "Лично нет. (Неужели и до него добрались? Не может быть.) Слыхала, у него на театре готовилась пьеса Брех-

та, – поставил?"– "А кто бы ему позволил? Мы переводчиной из-за всех этих Мейерхольдов по горло сыты". – "Но Брехт – коммунист!"– "Мало ли кто, чтоб пробраться к нам, коммунистом назовется..."

На этот раз вернулся к ОЛПу.

– Чем живет ваш дружок Толчанина? – Рассказывала, например, что за границей "Юма", получив ее письмо... Перебил резко, грубо, ноздри его дрогнули, будто вбирая след: – Стойте! Эта Юма иностранка, троцкистка или из каких? – Руки сжаты в локтях, голова подалась вперед. Весь он – "стойка". Весь устремлен в одну точку. И опять, как тогда в коридоре, мне мелькнуло в глазах его какое-то упоение.

Пояснила, что речь идет об известном следствию письме Люси в газету "Юманите", рассказала о молодом марсельце и о девушке, инженере парижского метро.

(Теперь берегись, он озлился, что попал впросак, скорее наперерез, уводи в сторону!) И простым спокойным тоном:

– Говорят, метро московское проектируется – дворцы подземные. Живет Москва?

Первым пунктом пренебрег. Но, пройдясь по кабинету и вполне успокоившись, перевел второй вопрос на персонально-семейственные рельсы.

И пошло... Квартирка-игрушечка. Любимые теплые косы. Тахта, подушки, расшитые яркими шелками. Настоящий хороший покой. Все должно быть и по виду, и по существу – красиво и чисто.

(Я слушала... Бюргерская респектабельность, спокойствие мелкого мирка – и оттуда же пронзающий сквозняк холодной смерти...)

– ... Женщина должна быть уютной. И безупречной, тогда вся атмосфера дома дышит свежестью. Неверную жену просто выбрасывают.

(... за "любимые теплые косы"?)

Он часто у окна, молчит и отсутствует, а то вдруг овладевает им жажда высказываний. Слушает – для целевых записей и еще – от скуки. Вообще же, больше, чем слушать, любит говорить сам. Речь о доме несется так, будто и я... весь внешний мир – его: торопливо, взахлеб – похоже на потребность в слове и спешку пограничника.

Отыскивать нити сходства теперь нетрудно: все задыхаются от одиночества, все жаждут отдушины. (Найдя ее, две ночи не спят: отдушина – или капкан?)

У Ларисы способность в одно мгновение совсем проснуться и тут же моментально снова кануть в сон. Разбуженная лязганьем ключа, она подвинулась, давая место мне.

– Что было сегодня?

– Был он сам. Смесь палача с пошляком-мещанином, лобного места с "подушечками на тахте".

Ларису благоволящий к ней Чудак вывел из камеры – мыть полы.

Когда он вернулся, было ясно, ее томит и распирает нетерпение выложить что-то совсем особое. Даже не дождалась, пока отгремит ключ.

– Мыла проходную, туда вдруг явилась моя давняя знакомая Любовь Ром. Муж ее, довольно образованный человек, работает в этих местах начальником планового отдела. Я выразила Ром искреннее сочувствие, когда узнала, что она к Кашкетину. Получила такой ответ:

– Я только что из Москвы и к нему по собственной инициативе, по личному делу. Мне его опасаться нечего. Мы живем в одной гостинице. Кашкетин бывает у нас как знакомый. Поцеловал руку: "Прощайте, – говорит, – может, больше не свидимся: я на задании, после которого, опасаюсь, выведут в расход". –"Так откажитесь же, пока не поздно!"– естественно заметила я. –"Тогда расстреляют уж наверное. Приказ надо выполнять! "

Эти его слова – красноречивое историческое свидетельство. Любовь Ром жива-здорова до сих пор.

Кашкетин ехал не расследовать, а уничтожать, убивать. Кирпичный, каменоломня, все подобное – было уже запланировано, решено. Его послали не как следователя, а как палача.

"Выведут в расход": мавр сделал свое дело – и мавра "уйти". Но он здесь. Значит, дела еще не доделал. И вряд ли мавр знает, когда будет поставлена точка. На "деле" и... на нем самом.

Он – доверенное лицо, которому досталось "поручение". Он таких доверенных с "поручениями" встречал, а потом больше не видал, как никогда уж не видел их никто.

Его воспитали, научили, приучили. Возвели, указали размахнуться – по велению революции. И уберут его – во имя революции.

Михайлу – коменданта смертной палатки он "вывел в тундру" последним. У него есть все основания полагать, что с ним поступят так же.

Теперь особенно понятными стали старательные записи в большой блокнот. – "Москва знает..." Это дополнительно беспокоит, необходимо показать себя человеком "активной деловой осведомленности о лагере" и "еще может быть полезен". Он тщится перекрыть то, что "Москва знает" и может не простить: что замучившего, убившего людей – до этого насмешка их, бьющая в цель, едкая, презрительная, каждый день морально уничтожала его. Не только его...

Воскресенье – отдых. Но вечером вдруг вызов: Иоффе...

Из кабинета как-то независимо вышел опрятный, выпрямленный зэка с полупрезрительно спокойно сжатыми губами. Мы успели сочувственно переглянуться, но меня тут же вызвал Кашкетин. Сразу заговорил:

– Видали? Не из ваших, но тоже весьма плотный камешек. А взяться – месяца через два еще как можно его обстругать, наточить, превратить в самого Кашкетина, – уверенно и самодовольно просветил он меня.

Мне уже известно, что означает расстегнутый воротник, воспаленные веки, лохматая голова. – На этот раз не сонный, наоборот – оживлен, говорлив.

Оказывается, он – южанин; революция, укрепившаяся в их городе

Луганске с концом гражданской войны, застала его гимназистом старшего класса. – Ходил по кабинету, рассказывал о своей гордости первым скаутским чином, о прогулках, кострах, зовущей ночи юга.

– А теперь снег, тайга, тоска. И возня с вашим братом. И вы не даете возможности сделать хотя бы один протокол.

– В т у н д р е ... обошлось, кажется, без протоколов.

– Я и вас должен давно отправить туда же.

– И что же? – шершавым голосом выдавила я.

Он отошел к окну, руки в карманы и, стоя ко мне спиной, как бы самому себе говорил:

– Костя с дружком своим Карло, Зина Козлова*... – Он назвал еще имена. – Костя. От вас веет чем-то вроде духа первых революций... А вернее – просто дурацким хождением по облакам. Заоблачники.

Обернулся:

– Вот спрошу – ну, не понимаю, – а вы сейчас мне ответьте: если стрелка указывает на прямую безопасную улицу, кой черт несет тебя в канаву? Малахольные, как говорят у нас на юге. Дьявол вас знает, что вы такое.

Выхватил револьвер, подошел ко мне чуть не вплотную. Облизнул красные, цвета подтекшей клюквы губы, прижал дуло к бушлату:

– Что найдет пуля там у вас внутри?...

... ... Господи, глупо, страшно, спьяну... Губы дрожали, зубы неслышно залязгали...

Не вошел – ворвался Заправа, властно махнул мне отойти к стене. Что-то на ухо Кашкетину, и у того револьвер выскользнул на стол из разжавшихся пальцев. Сразу потрезвевшими глазами воззрился на Заправу. Я только и сумела, что воспринять конец диалога.

Кашкетин: Чепуха, не верю.

Заправа: Я – тоже.

Следователь попался навстречу в полушубке, сказав конвоиру "пусть ждет в коридоре", вышел за ворота. В это время калитка из штрафного, скрипнув, пропустила носилки. То, что покоилось на них, лежало плоско, почти не выдаваясь под серой простыней.

Сопровождавший тело конвоир остановился с моим. Тараща глаза, обсуждали что-то, захватившее обоих, торопиться им некуда. Я смогла немного проводить носилки, и было ощущение, что грубая простыня жестко трет плечи мне самой – идущей в полутьме за своим прахом.

Дорогой друг мой.

Смерть-погибель – взрыв, мор, пожар, крушение, шторм, война – вез-

---

* Зина Козлова – расстреляна на Ухте в 1943 г. Андрей Константинов – Костя (парт. кличка с 1916 г.) и Карло Пацкашвили сгинули неизвестно где и когда.

де должна одолевать помехи: противоборство людей, ответного оружия, науки.

Здесь ей – зеленая улица. В огромном северном размахе, равном по величине многим государствам вместе, смерть свободно шагает в иной ипостаси. Если спросить о ней старую каменоломню, взрытые аммоналом в вечной мерзлоте другие могилы, смерть ответит одним словом:

– К а ш к е т и н.

Он сеет кладбища и, кажется, мыслит только чужими смертями. В них его работа, карьера, надежда, спасение. Не знаю, режим насилий, произвола ищет и находит себе опору в таких или, наоборот, сам их творит и взращивает. Во всяком случае прибывший в Заполярье уполномоченный из Москвы точно вписался в назначенные рамки: зловещая победа в тундре одержана Кашкетиным...

И вот с таким ведутся глаз на глаз в его кабинете почти еженощные разговоры. Нет, это не допросы – ни протоколов, ни выспрашиваний по выдуманному моему "делу".

Пытаюсь ли я избежать этих ночных бдений? Наоборот, когда уж явно очень поздно, стараюсь "под занавес" закинуть повод для следующего вызова.

Из нашей камеры сам Кашкетин ведет "дела" только двоих: мое и Зины Козловой.

Зина уже на пределе, она вся в рубцах, синяках и кровоподтеках. Меня пока не касаются. Пока.

Первая моя задача: сколько могу – затягивать свое пребывание у следователя. Чтобы не оказалось остатка времени для избиения другого человека.

Естественен вопрос: зачем Кашкетину тратить время, столько времени на эти непротокольные беседы?

... Случилось, когда вызовы начали учащаться, я как-то прервала Кашкетина никак не полагающейся в этом страшном месте иронической репликой. Как раз еще до окончания моей "криминальной" фразы без стука вошли и остановились, прислушиваясь, оба его помощника. Кашкетин, вскочив с руганью, грохотом и топотом, здорово разыграл сцену возмущения допрашиваемой. И тут же, только те вышли, как ни в чем не бывало придвинул мне стул, чуть слышно, будто в сторону, выдавил из себя слова:

– Умна, а ничего не понимаете.

Сквозь чуть слышный шелест голоса явственно просквозила какая-то... затравленность. Кашкетина?! Его. И по существу на коротенькое мгновение он со мной, подследственной зэка, конспирировал за спиной своих.

Внутри армии палачей, предателей и сложной всепроникающей сети провокаторов-доносчиков все взаимно "освещаются". Значит, и топят друг друга. Потому что с них так спрашивают и потому что они подлы, как все предатели.

Чувство чести соединяет уважением даже противников и родит теплоту, единство друзей. Бесчестного подозревают, боятся, ненавидят в своей своре и презирают вне ее.

Черствый, злой, одичавший от фактически утраченных человеческих чувств подлец – одинок.

Безнадежная скука, глухомань засыпанного метелями, заброшенного лесного угла. Со своей тоской, с мыслями о "поручении", после которого, похоже, уничтожат, – куда деваться? В смысле водки, если перебережешь, донесут.

И оказался в поле зрения человек, как-то отвлекающий, "единственный допрос, на котором мне не скучно". – Вот откуда странное поведение и непонятная фраза кровавого, властного Кашкетина.

... Пожалуй, дорогой профессор, позиция уполномоченного вам теперь более понятна, чем моя. Там – потребность хоть на какие-то часы забыться, отвлечься от черных мыслей. Но какое может быть ощущение от жизни у вас, мол, когда, сознательно, активно выискивая темы, вы как бы на равных длите разговоры с натуральным палачом?

Да. Ладью разговоров настороженно, но к определенной цели пытаюсь вести я. А потом, возвращаясь черной ночью из следственного корпуса, говорю мерцающим полярным звездам: "Глядите, вот шагаю по хрустящему снегу, в эту ночь я еще не закопана под ним! Вырвалась от смерти – по крайней мере до следующей ночи. Господи, ведь мы молоды..."

Наша молодость старится у параш.

Нахождение бездны мрачной на краю – мое ощущение жизни. Понимаете вы самопоглощенность всего последнего? – Когда минута равна только самой себе, все другое отдаляется за тридевять земель. Представьте, в Крыму в 1926 году под ногами у вас треснула, пошла земля. Тогда все ваши реалии – старинная музыка, редкие издания, негритянское искусство – пфф... и нет. В миг бы улетучилось.

Расстояние от вас до нашей замерзающей точки неизмеримо больше своего арифметического выражения. Признайтесь – мы уже похоронены. И вас не может волновать, если кто-то где-то безвольно опустит руки, голову и от толчка начнет безвольно крениться в пасть бездны. Зина или я (она лучше меня).

В этом безволии – гибель *до* смерти. Здесь я узнала два полюса: волевое желание – действо и – слепое, немое следование приказу. Они так же взаимоисключающи, как жизнь и небытие. Я хочу знать, чувствовать, что пока еще жива. В наших условиях возможность доброго поступка перерастает в обязанность. И должна стать целью. До какого духовного худосочия надо дойти, чтоб в бескровной, бесполезной жизни не напрячь воли – принести хоть один плод!

Будьте спокойны, мне довольно присущ подход с точки зрения морали. Со стороны простой брезгливости тоже. И не вносит ли поправку в возможные сомнения тот факт, что предстоит течение самого действа? По-

думайте хоть немного, что может получиться, если собьешься с тона или споткнешься, как о камешек, о встрявшее ненароком шальное слово!

Вот что – страшно вспомнить – сразу после второго карцера стряслось со мной, не за одно слово, а лишь за вызов молчанием и взглядом: с наганом в руках – "сейчас прикончу, идите, не бежать, не оглядываться!" – вывел меня ночью во двор Кашкетин...

Ночные беседы – еще и отчаянная борьба: не теряя достоинства, – сохранить жизнь смертнику. Мою жизнь.

Тот, о ком пишу так много, по качеству, по калибру не стоит и одной строки: всего-навсего – жидкая канва, по которой извне вышивают любой узор. (По преимуществу... крестами.) – Но не раз бывало, что пигмей в пьянящем чувстве власти порождает гору зла и, забравшись на нее, становится ростом с великана... Раздражение Кашкетина – тугая резина палок; гнев его – приговор; подпись – взведенный курок.

Между прочим, на очереди – семерка на холодных половых досках.

Мы хотим видеть наших близких, мы нашим близким и они нам – необходимы. Мы полны неистребимой жаждой жизни, и мы знаем, на что обречены.

Когда пуля качается – ближе-дальше-ближе,– маятник приводит в движение все пружины, мысль обгоняет привычные мерила, выводит за пределы их. Вот в чем тайна удачи похожих на чудо побегов смертников. В решающий миг нельзя оказаться недотепой.

Надежда, хотя бы подкожная, живет, должно быть, вечно. Молодой, живой, здоровый как бы точно он ни *знал*, все же верит *не до конца* в свою близкую смерть. В этом коротеньком остатке, не поддающемся очевидности, манит, подталкивает меня безумная мысль, тайный и дальний прицел: по зову совести и обязанности свидетеля, по священному долгу перед теми, кого уже нет, – сделать все, что в моих силах, чтобы кашкетинщина не выпала из тяжелого досье о бесконечном ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ, которое когда-нибудь – непременно! – будет создано.

Если преступления не разоблачить в полной мере, не осудить на миру, не возздать кары, – можно ли быть уверенным, что не возникнет снова культ убийцы, деспота-тирана, палача миллионов ни в чем не повинных жертв? – Чтобы от всей души навеки проклясть кровавое господство человека над людьми, весь разврат безумного, ничем не обузданного произвола, надо прежде всего извлечь злодейства из глуби подвалов, из полярной тьмы – на дневной свет.

Путы страха, ставшего привычным, бытовым, еще не скоро отпустят, а они ведут к инерции, "самоосвобождению" от долга человека и гражданина, к равнодушию. Может быть, только те, что придут за нами, узнав всю правду, оглядятся вокруг себя, увидят, что "выборы", похожие на матч-состязание из одной команды при одних воротах, горько-смехотворны, унизительны, убийственны.

Может быть, услышав наши предупреждения, поймут, что гарантии против повторения всего 37-го (возможно, в еще более страшном варианте!) – в том, чтобы имели возможность высказаться люди мыслящие,

готовые на смелое правдивое слово. Такие чаще всего бывают в меньшинстве. И необходимо, чтоб было принято как закон – право меньшинства на оппозицию.

Кто же иначе поднимет голос против ошибок: кто, как не они, смогут предупредить, помешать восхождению-возвеличиванию нового бога? Ведь не члены же подобранного всеодобряющего низкопоклонного аппарата, сами и создающие культ Высшего.

Устремляясь вперед, люди обязаны – как урок и упреждение – брать с собой в с е свое прошлое. Из завтра нельзя выбрасывать сегодня. И мы, именно мы, о б я з а н ы рассказать, показать, что такое кашкетинщина, кто такой Кашкетин.

Многое из его декламаций уже слышано десятки раз из самых разных уст. Но иногда оброненные им, необычные для него слова чуть приоткрывают дверь, и в щель проглядывает мир Кашкетина. Он говорлив, а у любого в какие-то минуты непроизвольно вырываются фразы, жесты – тут и сказывается, как бывает иногда во время бреда, весь человек.

Сколько нам еще отпущено времени, – неизвестно. Но, пока жива, я хочу мою *судьбу* претворить в мой *долг:* вслушиваясь в речи уполномоченного из Москвы, стараться постичь какую-то главную суть. И, если смогу, буду стараться поведать о том прямо и точно, чтоб его слова не утратили первичной подлинности.

Этими словами-уликами он должен перед потомством свидетельствовать о себе самом и о своем времени.

Лариса:

– Буду просить бумаги для заявления в самые верхние руки. Такое: "Я молода, хороша собой и никогда, во всю мою жизнь, не интересовалась ничем, кроме театра, туалетов, волнующих встреч. За то, что, может быть, по легкости мысли сболтнула, – с лихвой отсидела первый (ссылка) и второй (лагерь) сроки. Беда в том, что, когда у человека два срока – первый – ст. 58, второй – ого! – КРТД, – он считается, так сказать, "вырастает" в "крупную политическую фигуру". На этом основании (других нет) мне грозят новые кары, дальнейшее "укрупнение" роста "политической фигуры". Вмешайтесь! – остановите! – Посмотрите на мой портрет – их много в НКВД, похожа ли я на мрачного заговорщика? Убедительно прошу вас – прекратите мою политическую карьеру!"

– Муся, пожалуйста, отредактируйте, чтоб было решительно, изящно, с юмором.

– Словом, для успеха обращения мобилизовать все силы, – смеюсь я. – По Уланду в балладе "Проклятие певца": "Nimm alle Kraft zusammen", – и поможет вам так же, как красавцу с арфой: певца за его "заявление" песнью король собственноручно пронзил насквозь мечом. Учтите.

Лариса (иенадолго), поскучнев, махнула рукой:

– А и правда, еще добавочно влетит...

Уже давно стою в ожидалке, меня знобит, и, знали бы вы, друг мой, как лихорадочно бегут мысли, до чего мне сегодня тревожно. За дверью звуки резкого, громкого разговора. Может быть, от них охватывает непреоборимый, холодный страх.

Как в первый раз, трое за столом. Садиться не предлагают. Перед Кашкетиным снова злосчастный "протокол"

Заправа:

– Подписывайте. Пока не скрутили руки назад. Вы знали, куда, к кому вас везут, знали, что тут не шутят? Отвечайте!

Глубоко забрала в себя воздух. Пожала плечами:

– Бесполезное знание – тюрьмы не выбирают. Следователь тоже, как говорится, от бога или от...

Кашкетин угрожающе молчал.

– Вот что, – начал он размеренным, ничего хорошего не сулившим голосом, – на Кирпичном Вилка, староста ваш, вызвался ко мне. Чего тебе, спрашиваю. Он нагло выпалил: "От людей разит, вели прислать обрывки старых газет, сам задохнешься на допросах от вони".– И получил – отлетел к стенке. Наглецов наказывают на месте.

Вошел плешивый, мне мановением руки приказ отойти.

(Я не вижу их. Передо мной Вилка, всегда веселый, всегда упорностойкий солдат революции... Кирпичный... Переполненный холодный сарай-палатка, потолок над головой, окна вглухую забиты досками, грязь, в легкие входит дыхание сотен голодных, больных...

Ты, староста, захотел чуть облегчить... Одна бытовая фраза – нет чудесной звонкой жизни...)

Заправа:

– Чего крутит вас, как пьяную бабу?

– Устала.

Кашкетин:

– Мы тоже устали, сюда прямо с уборочной. – Переглянулись, захмыкали низким ржавым смехом.

Пересекаю двор. Снег. Какая уборочная? Они же сюда – с заполярной Воркуты. – И вдруг перед усталыми глазами снег как бы расступается, темнеет яма. Качнуло, будто и меня самое "убирают" на самое дно. Вскрикнула, повернула назад. Конвоир больно толкнул.

... Как-то в камере размышляли: нельзя ли, воспользовавшись благодушной минутой, узнать у Кашкетина хоть что-нибудь о судьбе товарищей. Решили – Марии для проверки спросить его о всем известной старой большевичке, из списка расстрелянных в другом лагере.

– Жива?

– Да. Она в Темняках. – (Как я поняла, – Подмосковный Темняковский лагерь для женщин.)

Зашедший в кабинет и услышавший разговор лысый опустил руку с вытянутым указательным к полу. Чего-то весело переглянулись...

... Только сейчас я поняла "шутку" весельчаков-вешальников.

... т е м н я к и...

... у б о р о ч н а я...

Так на людях можно оголяться, когда сволочь ничем другим казаться и не хочет. Если мерзавец своей мерзостью выхваляется, ждет за нее наград, – это уже не человек.

Разрушительный шквал обрушивается тут именно через него, уже поэтому Кашкетин – один из выразителей своего времени.

Слушайте же, профессор, его слова.

Смотри, народ,– вот он! Во весь рост.

Бесстыдная, голая, тупая жестокость подчинила себе страну.

Кто возразит, осудит? Общественное мнение?

Нет мнений. Нет общества. Единственно, что присуще всем, – безгласный страх.

Отдельно – боятся.

В одиночку – молчат.

Где уж теперь уснуть...

Вспоминаю: в больнице на ОЛПе во время перевязки разговорился со мной порезанный во время барачной драки словоохотливый бандит. Сидит "за проезжую комсомолку". Она сдала вещи на хранение. Чтобы добыть квитанцию, этот длинный, худой, с лицом и голой головой, перекошенными сизыми бугристыми рубцами, вместе с кем-то задушил ее веревкой. – "Но она молодая, жить хотела!" – Ответил самодовольно: "Все хотят жить. Другие не умеют, а я умею". – "И ни на минуту не стало жалко, больно?" – Недоуменно поглядел на собеседницу сверху вниз, усмехнулся: "Вы чекнутая, что ли? Ей было больно, так я же – не она".

Пес, облезлый пес. Он просто не может, не способен чувствовать, ощущать дальше самого себя.

У Кашкетина, как у того бандита, не может быть со-чувствия, потому что нет у него чувства к людям.

Пес-людоед. На нем эстафета специфики человеческого – прерывается, идет вспять к зверю.

Кашкетины всех рангов и величин страшны не только для нас. Они – опасность для самой идеи эволюции, становления человека...

Зосин крик в ночи навеял мистический ужас. Успокоились, улеглись. Я успела увидеть сон: в темном океане ныряю на чем-то плоском, во сне соображаю – это сорвавшийся оконный тюремный козырек – крышка гроба, за ней, недалеко, утопающий пограничник...

Поднялась, села.

... Они, как правило, – создают безвыходность. Будят, поднимают со дна самые черные стороны человека. Истребляют все завещанное высоким духовным началом – инстинкт совести, органическое отталкивание от предательства, фальши, лакейства, мерзкого оговора. С тем, что вне "дела", нисколько не связаны, но прочно спаяны с приказом. Ч т о именно заключается в нем, – не вникают ни на вершок: приказ – целиком акт служения и слепого послушания. Порочат настоящего человека просто и

легко, потому что у них нет и не может быть собственной чести: честность их же руками карается смертью.

Пограничник... Воркутский конвейр смерти...

Теперь, кажется, я начинаю понимать до конца их ощущение бытия. Жизнь – это только их жизнь и тех, кто над ними.

Подвластные же им люди – исключительно место приложения их деятельности. Только материал их работы, как дерево лесорубу, камень дробильщику, болванка металла – кузнецу. Рабочий материал не может вызывать жалости, вообще никаких эмоций. Только оценка результата. Они втянулись в "работу" – убийство сотен тысяч! – шутят над ней, превращают в веселый анекдот – абсолютно утратили чувствительность, впечатлительность. Прониклись верой, что это вполне нормально, иначе – и нельзя.

А еще – страх. "Исчезновение" особей из их среды. И пропаганда: ты – защитник Советского строя, ты – соль земли. Поверить легко, лестно и... выгодно. Только проникнись до конца бессовестностью, бесстыдством, понимай приказ – чего бы он ни заключал! – как то, на чем стоит жизнь, как ее естественный базис: веление Вождя, нашего Сталина.

Не люди, а сталинландцы.

Именно такие понадобились, чтобы около пятнадцати миллионов крестьян-кулаков (их всего 6 %!) и "подкулачников" – всю наиболее производящую мощь деревни – в нетопленных запечатанных вагонах, без топлива, без воды и пищи отправить за смертью в Сибирь... Тут главное: в корне пресечь возможности Разиных и Пугачевых, для них сейчас почва более взрыхлена, чем во все прошедшие времена.

Кашкетины-сталинландцы наводят гипнотический ужас, которым держатся в повиновении лагеря – вооруженные базы против всякой оппозиции и прочих объявленных по разным статьям "внутренними смутьянами, врагами". – Концентрическими кругами гигантской охранной спирали лагерей – штыками, колючей проволокой, клыками овчарок – надежно окружила, огородила себя власть – Вождь.

"Все на них держится"... То есть на Кашкетиных – по словам самого Кашкетина.

Особенно ужасно – создается специфическая атмосфера, которую вдыхают тысячи, миллионы. Пропитываются ею насквозь, уже не понимают – что такое сочувствие, достоинство.

Ширится Сталинланд в "стране Советов"...

Жиденький слой еще думающих, чувствующих, что остался не удушенным, не расстрелянным, не изголоданным, не замерзшим, – удрученно, угнетенно молчит.

XIV

Чрезвычайное происшествие. ЧП без всяких кавычек.

Сколько ни читала у великих и малых писателей о тюрьмах, всегда выходило – жизнь заключенных текла среди событий, людей, книг. Ме-

нялся состав камеры, перестукивались, перекрикивались, встречались на прогулках, допросах, свиданиях. – Камера № 1 отгорожена от всего и от всех: прогулок – никаких, допрос – ночью, стук в гнилую стену первым бы услышал надзиратель. И, когда комендант, впервые обращаясь ко всем, вызвал желающих помыть полы на кухне, в коридорах и в проходной, все (кроме Зины) вскочили с энтузиазмом. Засиделись!

Бригадир – молодой серолицый урка. По его прибауткам, смешным, иногда неглупым, признала:

– Питерец?

Он поклонился в знак согласия и церемонно представляясь:

– Петя-Лиговка.

Раздал ведра, назначил рабочие участки. Из всех поломоек сразу выделил Ларису, сложил к ее ногам лучшие половые тряпки. Выкручивал их для нее, подносил воду. Во время перекура угостил махоркой и как лицо осведомленное рассказал газетные новости. (Тогда Клавдия во время мытья кухни с тихой улыбкой просочилась на чистку картофеля – он наболтает, Лариса ввернет, заварят кашу...)

Петя между тем спрашивал:

– Это правда, те, на процессе, родину продавали?

– Раз написано в газетах, значит, правда.

– А что они продавали?

– Ну, как что – Дальний Восток, Ленские золотые прииски. – Лариса отвечала очень солидно.

– Ленские золотые прииски! Вот паскуды! – Лиговка возмущенно сплюнул дугой в угол, сразу, до конца, вытянул самокрутку. Снова обратился к Ларисе:

– А не знаете, кому бы я мог предложить эту частичку Севера? Гамузом – с вышками, с колючками, с Кашкетиным и Заправой в придачу? Я б не стал дорожиться, за бесценок бы уступил...

Кухню, коридоры вымыли, в проходную требовались только двое. Петя-Лиговка, конечно, отправился с Ларисой. Еще и раньше Чудак посылал ее на уборку. Теперь она укрепилась в качестве "штатной" поломойки. Хоть слабенький, иссякающий в песках источник новостей.

Зося выводом недовольна – картошка да огурец, подумаешь! Хоть бы кусок рыбы дали. Вот раз на Кирпичном...

Лариса, спешно перебивая, спрашивает:

– Вы ж сначала были в этих местах, как же к нам попали?

– Всю КРТД и всех родственников из более южных ОЛПов отобрали да этапами в Заполярье определили.

– А что вы здесь делали?

Оказывается, работала в маленькой кустарной мастерской музыкальных инструментов. Полировала гармоники.

– Я бы опять туда со всех ног. Была отличницей, получала отличный паек. Молока давали, а рыбы, как всем. Вот раз на Кирпичном...

А холодная картошка с соленым огурцом вызвали у бедняги расстройство желудка. Она сникла и замолчала.

В камере стойкая вонь. Все сидят, уткнув носы в ворот бушлата. Расшевеливает только обед. И перед сном обычная возня на полу.

– Да ложись ты...,– ворчит Зося.

– Ишь, тебе некогда, косматая, – огрызается в ответ Ниса.

Лекпом после укола шепотком мне:

– Сегодня выспитесь – собрание.

А тут завели канитель до полуночи.

Иногда помогает шутка:

– Ну, конечно, некогда, дел-то сколько – постричься, на парашу не опоздать, ну и север еще освоить нужно, через гармошку...

С вызова Зося вернулась сама не своя. Заправа привел Кашкетина – понимаете, самого Кашкетина! Он швырнул палку об стол, да ко мне: "К Володе, к брату – кто ходил?" У меня сразу живот как схватит. А он опять гаркнул: "Ну? Рассусоливать нам некогда..." Еле ответила: никого, никого я не видела, мне тоже некогда, надо в уборную, потом постричься и еще север освоить через гармошку, я их полировать умею, позвольте выйти на оправку...

Похолодела – что я натворила! А Зося закончила безнадежно:

– Боюсь я его, боюсь, вот с переляку так и получилось. Еще на Воркуте говорили, он не терпит, чтоб напротив. Знаю, уж теперь что-то случится.

На этот раз случилось вот что: лекпом после осмотра назначил ей больничный стол. Мне сообщил – алиментарная дистрофия, налицо все признаки. Из перечисленных им признаком запомнила два: понос, психоз.

И еще одно дополнительное питание: красавица Лариса разрушается на глазах. Пока молчит – все еще хороша, а как заговорит – лицо покрывается рытвинами, старуха, с морщинами и желто-бурыми неровными шевелящимися зубами. Волосы лезут клочьями, ноги в гнойниках – острая цинга.

Зосин понос лекарствами и строгой диетой прервали. Спасительно прогнила и протекла параша. Помыли пол. Дали новенький ушат. Вздохнули в буквальном смысле.

Дорогой друг, мне приказано ждать в коридоре, и я решилась на риск: поставила табуретку (наследство зеленого пограничника) ближе к топке и – запретное дело – восседаю, опершись о теплую стену. Кашкетин по телефону – такое впервые! – вызван с допроса в город.

Может, обнюхать новый этап с Большой Земли?

Мы, из самых первых поступлений, не знали этапов с урками и в следствии, потом в дороге находились в несравнимо лучших условиях. (Может быть, отчасти и поэтому сохраняли бодрость духа.)

Очень скоро пошло все по-иному.

Новичок... С последнего проходного этапа несколько человек оставили в нашем ОЛПе. Еще недавно опрятные, прибранные, крепко шагая, шли они в мастерские, учреждения, лаборатории, заходили в библиотеки, на стадион. Сейчас это – сборище оборванцев. Они рассказали: на пере-

сыльном пункте между нарами всю ночь бродили бандиты, били этапников наотмашь, грозили ножами. Отнимали и съестное, но первым делом – пальто, валенки. Взамен бросали свою вонючую провшивленную рухлядь.

Утро. Мороз. Пеший этап растянулся – конца не видно. У большинства ноги обмотаны чем попало. На узбеках шелковые халаты. В пути отдельные из рядов выпадали. Оставались...

Спросите: почему же никого не защитил столь многочисленный конвой?

Почему... Вы, очевидно, думаете, что кровавое избиение едва успевших войти в ворота тюрьмы – единичное явление? Открытая переполненная параша, растоптанный по всему полу человеческий навоз, черви и мокрицы в дыре-карцере – случайный недосмотр, халатность?

Нет. Моменты обработки. Тюремно-лагерная пропаганда.

Человек изъят из мира, раздет, голоден. Избит. И еще смешан с грязью, с дерьмом. Расчет прост: средний человек – основной обитатель массовых лагерей – обычно как раз то, чем делает его окружение.

В человека верят – он на высоте, не верят нисколько – и сам в себе усомнится. Поносят, издеваются, унижают – должен потеряться, не только остановиться в своем человеческом, но и пойти вниз, стать действительно не стоящим уважения. То есть тем, что наиболее удобно для следствия. Для руководства лагерем – тоже: если новичок потерял, утратил себя, значит, жить он может только по чужой воле, по приказам. Лагерь – это и есть жизнь подчиненная, разглавленная только ими. Приказ тут действует неукоснительно и беспрестанно: у рельса (подъем!), у рабочего места ("давай-давай"), в столовой ("бригада, входи! время!"), на марше ("не вылазь, стреляю!"), на верхней или нижней (как прикажут) полке вагонки, в ожидании криков "на поверку!".

В бараке тьма, грязь, насекомые, вечный гам, вечное многолюдство. Выйти наружу – напасть комаров или мороз трескучий. Некуда деваться.

А тут еще грузом наваливается на новенького обстоятельство похуже мороза, голода, душевной ограбленности: присутствие тут же, в тех же условиях, уже отбывших свой лагерный срок.

Необитаемый остров на определенный период – это одно. Без срока, без перспектив, без надежд – совсем другое. Робинзон Крузо проявил невиданную жизненную крепость, упорство, но ежедневно высматривал он появление корабля на горизонте. – Здесь одни из окончивших лагерную пятилетку задержаны "до особого распоряжения", других уже "распорядили" еще на десять лет. Рядом "вкалывают" получившие срок уже и по третьему разу (начавшие путь еще на Беломоре).

Значит... значит, произошло окончательное, бесповоротное. Входящий, оставь надежду навсегда.

Мало кто отважится ответить на тревожные – "за что", "почему" – как же все это? – А вот как.

Прежде всего вырастили касту исполнителей – лагерных начальников, подначальников, "кумовьев". Кстати, вся лагерная администрация, каж-

дый входящий в нее – "кум" с разным уровнем власти и разной степенью трусости. Все равны в одном: подвластности прочно бытующему доносу. Кого угодно, на кого угодно.

Есть поражение страхом, самое тяжелое и опасное: страх чувствовать и прочувствовать, страх думать и додумать. Ты уже не осудишь (просто инстинктивно!) явно мерзкое, дрянное, но прежде всего прикинешь – где и как сказать можно, о чем лучше промолчать, какие слова грозят явной опасностью, а что, наоборот, надлежит выдать обязательно. Получается, каждое подобие мысли, ее выражение – комочек унизительной фальши, лжи. Лучше уж не думать, не чувствовать, не говорить – к черту! Так безопасней. – Подполье, гражданская война, былые горячие студенческие споры – и не вспоминают о таком. Человека нет, пустая оболочка.

Новичок... Весь – оцепенение, усталая покорность, духовный вакуум.

Вакуум – это разинутый клювик голодного птенца. Он схватит всякую разжеванную пищу, всякую веру. Вот тут-то, уже в лагере, и приходит "к у м" – судьба многих и многих: "Кто не с нами, тот против нас, докажи свою лояльность, выкладывай, что говорят. Называй имена их".

Чтоб народ безмолствовал, надо его ошарашить. Чтоб заговорил как подлец – нужен "кум" и вся способствующая ему обстановка. Голод, лишения – если это не во имя чего-то настоящего (да еще запуганность) – не способствуют подъему нравственности. Вопль изнемогающего тела начинает заглушать все другие голоса. А "кум" прежде всего бьет на возможное улучшение – или, наоборот, утяжеление твоего убогого житья.

Начинается с небольшого, кой-какой маловажной уступочки "куму". Тропа "уступок" скользка и покати. Новичку при его опустошенности трудно обрести внутренний упор для противодействия атаке. Еще трудней отыскать в себе тормоз, который задержал бы в нужную минуту роковое *непоправимое* слово. Крамолу же при желании можно отыскать в любой фразе. Особенно – произнесенной тем, на кого избирательно кивнет "кум".

Прежде всего "кум" внедряет уважение к доносам. С соответствующими предложениями он обращается почти сплошь ко всему лагерному люду, понимая, конечно, что такие шаги широко известны. И пусть. Каждый в каждом волен видеть доносчика. Главное – посеять недоверие, деморализовать. Заключенный должен знать, чувствовать – за колючей оградой вся ткань человеческой массы пропитана доносом, что "каждое намерение, всякое слово узнаем сейчас же".

Приходит самое невыносимое, подминающее все твои помыслы, движения, не дающее ни часу, ни минуты покоя, устрашающее чувство: за тобой неотступно следят. Какие-то глаза, много глаз подсматривают, и уши, много ушей подслушивают слова, ночной бред, вздохи, мысли. Ты весь опутан невидимой липкой паутиной. Люди до того ощущают окружение, что мысленно "оправдываются" в каждом шаге. Заходил в соседний барак, там, может быть, есть и троцкисты – что ответить, если вызовут к "куму"? Высказался о "Записках из Мертвого дома" – как объяснить? Человек сам над собой ведет неусыпное "следствие". Говорит всегда с

опаской, прячась, будто от чего-то спасается. Разговаривает, собственно, уже не с соседом, а с кем-то другим, невидимым. А вдруг сосед и сам – "невидимка"? Предаст... оговорит... продаст... А сосед в то же время, может быть, терзается тем же самым.

Былая радость жизни переродилась в жизнебоязнь. Мысли, поступки – ушиблены страхом. Не жизнь, а мука жизнью. Куда деваться от боязни кары за несуществующую вину?...

И вот –

ко всему забушевал в тундре смертоносный кашкетинский разгул. Разверзшейся длинной-длинной каменоломней поглощены навеки те, кто сердцами своими заслонял революции от бед.

Кровавое безумие, непостижимая античеловечность, сумасшедшая абсурдность этих гибелей...

Смерть явилась вдруг, заживо, на все наложила холодную давящую лапу. Смерть проникла в сознание, поселилась в нем. Мы все почти уже мертвые.

Из ОЛПов забирают наиболее выдающихся талантов, влиянием и одновременно вытаскивают заурядных середняков. Гонят к взрытым аммоналом могилам крупнейших специалистов, вместе с ними ничего не знающих, не умеющих "малых сих". Не защищен никто. На пути танка *все*, каждого завтра может не стать.

Шанс на спасение – не принадлежать ни к какой категории. Не быть ни высоким, ни малым, ни среднего роста. Ни черным, ни белым, ни серым. Быть вне калибра, вне формы и окраски. Раствориться в абсолютном послушании, подчинении приказу, угадывании кивка.

Заметьте, каждый по горькому опыту знал, как можно здорово живешь "исчезнуть" из дома, из учреждения, из города. Сейчас перед ним ждущая, хватающая, последняя ступень – "исчезновение" из мира живых.

И страх заскреб исступленно, дико, роет, роет и рылом выковыривает все худшее, что было погребено культурой, честью, навыками держать в чистоте как руки и шею, так и совесть.

К т о с л е д у ю щ и й? Твоя нога уже застряла в смерти, только каким-то случаем на этот раз выдернул ее. Выдернул, потому что пришло в действие уже не подчиненное ни уму, ни сердцу, удесятеренное ужасом самоотталкивание тела.

Спасайся кто может от нависшей – вот она! – угрозы смерти. Спасайся, к а к м о ж е ш ь. С закрытыми глазами, с задавленной страхом совестью предательствуй, оговаривай, хоронись за чужой спиной. За чужой жизнью.

... Хребет сломан, душа выжата, цель достигнута: кто оставлен дышать, – разложен, распластан, расплющен.

Когда кто-нибудь захочет понять живых или мервецов после тридцаты годов, пусть усвоит: страх разрушал – пересоздавал Адама. К земле первозданной густо примешали осклизлую грязь, муть, гниль, заново лепили человека...

И все – чтоб достичь слепой готовности подчиняться тому, что есть, и всему тому, что еще будет.

(В том же направлении, методом сгущения пронизывающего страха, пропаганды, средств массовой информации, прямых угроз и репрессий – добиваются того же и... на Большой Земле.)

Плотоядный зверь царствует лютостью-силой, внушающей трепет всему лесу.

По этой формуле создает СТРАХ-УЖАС новую систему бытия: паралич воли, с малых лет отсутствие в обиходе понятий морали, порядочности – приближает всех, подвластных ему, к рабочему скоту.

СИСТЕМА осознана, принята: неустанно набирающая ударную силу А Р М И Я Н К В Д при даровом труде голодных зэков – З О Л О Т О, покупающее все, что надо для ВСЕМОГУЩЕСТВА.

Все куплю, сказало злато
Все возьму, сказал булат

Народная мудрость не могла предусмотреть СИСТЕМЫ с одновременным применением булата, злата и ... бушлата.

Кто знает, каков масштаб и где граница соблазну – применять систему...

XV

Глаза Ларисы, вернувшейся с очередного поломойства, квадратные: в комендатуре движение, спешка, куда-то потащили формуляры И – слушайте, слушайте! – на стене место портрета Ежова – п у с т о е.

– Сломали стекло, вставляют новое, вот и все, – не снижая голоса отозвалась Клавдия.

Шепот Ларисы забурлил и вспенился:

– Его просто – сняли? А вы что – перед цензурой за дверью отчитываетесь?

А теплые глаза Оксаны затуманило золотым дождем. Тем же, что в воротах, жестом протянула руку, конечно, к ребяткам своим.

Гляжу: узницы – будто осветились изнутри. Подумала вслух:

– Невидимые события первым делом отражаются на последних по рангу – на нас.

Все взволнованы. Голик скребет, будто железный. Но вначале, еще зеленым, он был веником и действовал легче, не драл. Может быть...

И вдруг Лариса, встав и чуть откинув голову, какая-то преображенная, протянула руки, будто издали обнимая всех, голосом, полным удивления, надежды, изрекла:

– Слушайте, да он же, может быть, просто *не успеет* измучить, умертвить нас?!..

Уже несколько суток не слышно лязганья отпираемых замков камер, никого ни днем ни ночью во всем коридоре не вызывают. Отдохнуть бы, отдышаться, но что-то как-то по-новому будоражит.

Конвоир повел не ночью, а еще до отбоя.

За всеми дверьми, кроме кабинета Кашкетина, тихо, темно: ни одна замочная скважина не светится.

Он сидит за тоненькой пачкой формуляров. Сегодня особенно подтянут, собран, сдержан. – Проверил, как говорят в местах заключения, "установочные данные" Иоффе Марии.

– Есть ко мне вопросы, заявления?

Еще бы, сто раз выношены, да ходишь все, как вокруг порохового погреба. Сейчас повод сам идет в руки.

– Один вопрос и одна просьба.

– Давайте.

– Все, написанное в "протоколе", – выдумка, которая не может иметь никакого, ни малейшего, ни самого отдаленного отношения ко мне. Вы это хорошо знаете. И тем не менее давлением десяти суток голода, вони, мокриц, навоза с червями, отвратительной щели "вашего карцера" заставляли все подписать. Не возьму в толк – кому и зачем это может быть нужно?.. А просьба очень важная: необходимо оставить в покое Козлову, она уже на пределе, едва кой-как в себя пришла.

– Ничего такого ни с кем больше не будет. – (Вопроса услышать не пожелал.) – Можете передать своим. Впрочем, вы и так доводите до камеры чуть не всякое услышанное здесь слово...

– ... чтоб оно впредь никого не застало врасплох. Песчинка самозащиты против лавины и гроз вашего наступления.

Ответил негромко и невесело:

– Мое наступление... Все, что совершено, – правильно и нужно. Но я ни одного шага не ступаю по собственной инициативе или по своему желанию. Надо мной стоит установка, приказ моего Наркома. А над ним могучая рука, указующий перст. Нарком вершит Его мудрую волю.

Отошел к окну, прибавил еще тише:

– И мы все, до самой смерти.

(Безусловно, до самой смерти. Он не вникает. Он выполняет. Нерассуждающий, беспрекословный страж Высшего начала.)

Стоит у окна, руки назад, крестом (хоть связывай).

... Но почему такое необычное, неожиданное говорит он мне, бесправной зэка, своей потенциальной жертве? Или – изредка – он все же слышит в ночи скрип и шуршание содеянного? Убийства из страха и страх от совершенных убийств? Неужели даже такому под свою чудовищную жизнь хочется подвести "идеологический базис", найти перед людьми оправдание? – Поглядела на спину Кашкетина, она показалась необычно обвисшей и весь он – сжавшимся.

И вдруг – будто внезапный ток пронзил, потряс меня.

... Обостри внутренний глаз. Пусть заговорит интуиция, иначе не разобраться в дыму снова упавшего изначального хаоса.

Я чувствую в его словах что-то равное нашим судьбам: "ничего такого больше не будет", тут же – "я только исполняю".

Н о в о е в е я н и е?! И потуги умалить, объяснить свои преступления – уж не воззвание ли к чувствам слушателя? Да он просто струсил, обмяк, он пробует "обработать" возможного свидетеля, которого вдруг, да и спросят о нем самом...

Да, да, именно так, другого объяснения нет. –... Снятый со стены портрет... диалог с Заправой... внезапный вызов с допроса...

Никаких сомнений – пристально вглядываясь, я прямо смотрю на него: передо мной сидит кто-то другой. С сильным запашком первого, но – иной.

Может, почувствовал, что уж надвинулась тень возможного исчезновения внушаемого им страха, а дальше – вероятного исчезновения со света... и себя – целиком?

Скажу прямо, несколько иной сразу почувствовала и я себя здесь. Меня подхватил прибой волнения, радости, надежды. Не замечая, откинула голову, расправила плечи, по-иному взглянула на Кашкетина, когда он вдруг спросил:

– Вам подписывать ничего не придется, но из чисто человеческого интереса хочу знать – вы что, пребываете в критикующих, несогласных?

– А вы как коммунист согласны с тем, что здесь происходит?

– Самое важное – соответствовать доверенному тебе делу.

– Значит, вы прежде всего энкеведист, а коммунист уже потом?

– А как же? У всех коммунистов есть общие задания, у меня же есть еще и особое – против угрозы вражьих происков. Мое дело – проникнуть в закоулки, пресечь, принять меры на дальнейшее. Часто как раз против критиканов и всяких там "сомневающихся".

– И тех, в ком хотя бы зародыш сомнения?

– Из зародыша, глядишь, черте что вырастает. Первые ростки преступление дает тайно, тишком.

– Значит, права на молчание уже нет? Хватайте "преступника" за молчаливое горло?

– Молчаливый подвох, затаенное сомнение – начало грозящей опасности.

– Но ведь только невежество, самодовольная ограниченность не знает сомнений.

– Государство немыслимо без законов. Наш основной закон – указания нашей партии, дисциплина. В них надо не "сомневаться", а исполнять.

– Самая смелая наука – все же научная дисциплина, но она включает в себя одухотворенные идеи. И есть дисциплина муравьиной кучи, тупая, одинаковая от века, она не откроет ни одного живого родника.

– На черта нам ваши "живые родники". Вся энергия должна влиться в общий прямой и могучий поток. А для этого необходимо держаться единых, строго ограниченных, указанных коллективной волей партии берегов.

– Чтобы выработать коллективную волю партии, надо подумать, сопоставить мнения, доказать, поспорить... А за "поспорить" – к стенке?

– А что, пряниками за пропаганду анархии кормить?

– Те, на Кирпичном, не анархистами были, а людьми проникновенной мысли, необходимой партии, ведущей государственный корабль. Их творческую мысль расстреляли у каменоломни...

– Что ж, умел воровать, умей ответ держать. И хватит об этом! – повысив голос, приказал Кашкетин.

Долго раскуривал папиросу.

– Доказать, поспорить... Выходит, всякий думай как хочешь, значит – и делай как хочешь? Не по выработанному пути, не по указаниям нашего Руководителя? У нас план и приказ. Никаких "живых родников" и прочих хождений по облакам – не позволим.

Прошелся по кабинету и продолжал:

– Потому что сила только в единстве...

– Бог мой, – прервала я, не выдержав, – но в единстве не истуканов же, а мыслящих, творческих людей!

– ... в единстве и монолитности. Самовольством, ересью не дойдешь до великой цели.

– Значит, вы за то, чтоб еретиков, вроде Джордано Бруно, сжигали на кострах? Слышали о таком?

– Можете не сомневаться, революция пришла к нам на юг уже в конце гражданской войны. Так что, собственно, уже взрослыми протирали штаны по гимназическим партам. Джордано Бруно был один, окруженный врагами народа. Мы тоже окружены ими со всех сторон, извне, а, может быть, еще больше – изнутри.

Неожиданно прибавил:

– Историю делают и стоящие на посту, бдящие, идущие по следу. У нас есть,что остораживать, что беречь. Удача и счастье революции в том, что Великий Вождь знает, провидит, постигает все до конца, его вещее слово не дает осечки. Мы – расставленные им постовые.

Я всегда стараюсь, чтоб в основном говорил, выговаривался он. Но сейчас задохнулась, захмелела от пробудившейся надежды, меня будто несло на гребне волны в открывшийся вдруг где-то простор. Успела мелькнуть только мысль – нужны слова, свойственные мне и понятные ему, краткие, доходящие.

– Постижения "до конца", так сказать, конечной истины – нет и никогда не будет. Но в поиски за ней пускаются дальше, дальше, и в осиянные, счастливейшие минуты вдохновения мысль достигает широты безграничных горизонтов.Происходит озарение, открывается неожиданное, неслыханное, такое, что надолго осветит путь человечества. Никто пока не знает, в ком зреют великие силы, что могли бы сообщить нашей науке, искусству такое движение, такие высоты, что все отжившее осталось бы далеко позади! Но страх – с энергией творчества несовместим. А гении, еще не могущие проявить себя, у нас есть, они – пока никому неведомые – в гуще народа, в сердце его. Поэтому для выявления, осуществления заложенного природой всем, понимаете, всем нужна развязанность, не запутанный цензурой да опасениями мозг, возможность безоглядной смелости, дерзости.

С застывшим в полуулыбке лицом он с любопытством глядел на необычно разговорившуюся арестантку. Не перебивая, выслушал. Пожал плечами.

– Ну вот, скажите сами беспристрастно: с такими мыслями – можно пускать в правящую партию? Смелость... Озарение... Дерзость – ишь чего захотели! Не можете понять единственно важного: победа придет только под напором могучим и общим, значит, нужны не сомнения с размышлениями, не заоблачность, но самое точное и бес-преко-словное исполнение.

(Как легко сбрасывается со счета обретенное в голоде, в лишениях сокровище – великий двадцатилетний опыт масс! Выходит, какое-то количество назначенных, не смеющих прекословить лиц – равносильно тому, что мог бы сделать проснувшийся народ в целом... Беспрекословное исполнение – и только...)

Спросила:

– Чем же отличается вольный человек от муравья из муравейника или от солдата в строю?

– И не надо отличаться. Все – солдаты в строю. Все. По-вашему, пятилетка – сколько яблочек взрастить и кому их лопать? Великий план – это целые отрасли, тысячи производств, дорожные пути, власть над землей, агрегаты и машины и сложные расчеты необходимой рабсилы. Его план – это академии, школы и танки, север и юг, небо и океаны. Все будет выполнено – если каждый, не мудрствуя лукаво, уйдет в порученную ему шестеренку. Только точный, безошибочный ум, породивший его, может в целом постичь всеобъемлющий механизм плана, пустить в ход все его рычаги, со всеми приводными ремнями. И, конечно, предусмотреть, чтобы взмах ножа или словесная подножка ничему не помешали. Профилактика – тоже часть охраны здоровья.

Опять смотрит через окно. Там – ели в снегу, холодная тьма, оттуда часто в ночи слышатся выстрелы. Профилактика. Здоровье.

Весь свой монолог произнес без подъема, без выражения, явно бесконечно повторяемый и уже памятный наизусть.

... Догма о непогрешимости и абсолютной верховной власти папы. Остальные – в послухе, по иерархии. Новое церковное рабство. Хватай врагов: предерзкую пытливость, энергию духовной жизни. Не пущай!

Он что-то говорил, не оборачиваясь ко мне. За своими мыслями я не расслышала, дошел только тяжелый вздох и уже слышанное:

– ... за ним до конца.

Резко повернулся ко мне от окна и произнес каким-то нутряным голосом, с искаженным лицом:

– Я – часть его, я прирос, присох к нему кровью...

И я не могла не подумать: и отдерет тебя – кровью, ножом...

Воцарилось молчание. Но пора было кончать, и я спросила, жаждая уточнения, полной уверенности:

– Дрянных слов, брани – больше не услышим? Побои – прекращены?

– Никто больше пальцем не тронет.

("Пальцем не тронет". – А винтовкой?..)

Его утверждение прозвучало так же непререкаемо, как прежде: "если пожестче – все выложат".

Не каждый день – новая правда.

Новая, противостоящая вчерашней, правда – от нового, другого приказа. Мерило – не нормы, не з а к о н, а ч е л о в е к, стоящий над тобой.

Произносимое Кашкетиным – готовые и обязательные сентенции, которыми его нашпиговали. Однако по природе он вовсе неглуп. С неглупым человеком произошло вот что: он, как и тысячи, поднаторел в послушании, в точной и беспрекословной исполнительности любых, в том числе немыслимых и бесчеловечных приказов, наторел до такой степени, что вдруг увидел, понял – свою оцепленность, отрезанность от всех дорог, кроме той, по которой двигаться ему "до самой смерти". Идет и углубится по приказу еще дальше, уже чувствуя на этом своем пути: "похоже – уничтожат" и твердо зная, что на всех иных – "расстреляют уж наверное". Как уже случилось с другими, точно так.

И он покорно сложил с себя – самого себя. Ни своих суждений, ни устремлений, ни своего лица. Потому что он уже – не сам по себе, в нем все сотворено, сделано. А душу – не сделаешь.

Когда у бездушного зла отнято не им заостренное, отпущенное ему за таким-то номером жало, – остается одна слякоть. Со всем своим злодейством, с подушечками и палками он – заводная мертвечина, механизм. По приказу он и отца, и дочь свою "подвергнет", "обезопасит" – механизм сработает.

"... многие сотни тысяч. А если этих людей, всех сразу, снять с работы, найдется на их место – вдвое, втрое больше, сколько угодно других..."

(Скорей бы отсюда, к сокамерницам. – На ОЛПе, как и все, возвращаясь с лесоповала, измотанные, голодные, опустошенные, валились на мешок с опилками без сил и без мыслей. В том числе и без дум о себе. Вряд ли и знали себя. Жизнь учинила им экзамен. В трухлявой полумертвецкой они уже, кажется, тени самих себя.

Тени?

Посмотрите на Зосю, самого незащищенного человека, жертву всех несчастных случайностей на свете. При всем ужасе, внушаемом ей после Кирпичного, после каменоломни Кашкетиным с Заправой на сводящих ее с ума допросах,– звука не обронила она о друзьях брата. Легкомысленная, фронидирующая и циничная Лариса затвердевает в безмолвии при каверзных вопросах лысого.

По характерам камера № 1 – ковчег. Но всех соединяет воедино внутренне присущий простой побудительный инстинкт: ты будешь, ты обязан в отношениях к окружающему, в отношении к другим людям поступать так, чтоб оставаться человеком. И в этом, таком простом, вечный огонь живого, неумирающего.)

Кашкетин ждал реакции на дарованные им слова. Ответила:

– Передам индульгенцию немедленно.

Он улыбнулся, провел гребнем по волосам. Глубоко вздохнул и както празднично уселся за стол, откинувшись на спинку стула и протянув ноги с видом человека, получившего наконец возможность отдохнуть после тяжелой работы.

– Так что потом случилось на Генузском кампо-санто? Я заинтересовался.

Ответила бесстрастно и односложно, как всегда на допросе:

– Не помню.

– Вот как...

Сузил глаза, с размаха шваркнул о стол карандаш. Потом встал и с какой-то черной свирепой тоской смерил взглядом арестантку. Мне опять стало не по себе.

– Эх вы... Шехерезада бушлатная. К черту...

Снег и ветер. Снежинки ошалело несутся в ореол фонаря, как бабочки на свет. – Все спят, даже Лариса не шевельнулась.

... Рабсила, машины, танки, пути... По Чехову совсем: человека забыли. Воздвигнет, создаст "рабсила" новые ценности материальные? Воздвигнет. Создаст. А вот будет ли растить при этом свои духовные силы?..

Возбуждение улеглось, я снова во власти сомнений и шаткости окружающего мира. От ветра гудят стены. Наверное, от него же сегодня в штрафном совсем приглушенный свет. Стало видно, какой жалкий, закапанный, пропыленный пузырек лампочки. Свет заперт в грязную камеру.

... ... Норма – не иметь ни воли, ни мысли, ни индивидуальности. Не думать, а следовать. Личность зачеркивается, отменяется, достаточно номера "дела" или еще чего-нибудь.

Безразличные к людям творят, уродуют, губят их судьбы.

... Могло оказаться, что Кашкетин – не "уполномоченный" кем-то, а, наоборот, один из тех, кто уполномачивает тех-то на то-то?

А почему нет? Зеленым юнцом включился в движение, кое-что дала ему гимназия, он дисциплинирован (еще как!), любит и может держать избитое "слово", не глупей других. И на любой ступени был бы – тем же, таким, как он есть.

Раз в повороте ночного разговора я заметила Кашкетину: вы здесь – явление...

Сейчас думается шире: все члены всей пирамиды власти уже не люди, а именно явление, силы природы данного бытия, вроде примерно цунами. Они не размышляют – сами собой приходят в действие, как существо их, привитые, пустившие корни и вросшие в них губительные свойства.

Ларису вывели после обеда, и тут же она вернулась, раздраженная:

– Убирать сегодня не надо (а значит, и кормить меня не надо), – чего привел, говорят, давай обратно.

Да, что-то необычно. Ну, Мария, рассказывать, рассказывать. Чтоб заглушить тревогу и слушателей, и рассказчика.

В камере родился новый жанр рассказывания, с предисловием, экскурсами в историю, воспоминаниями, пересказом и декламацией. Иногда больше, наверное, не слушают с такой, почти детской, отрешенностью. Есть на свете "бегство в болезнь", есть бегство в молитву, как в пустыню, бегство в наркотические сны. Здесь люди погружались в поэзию, вымысел, чужую жизнь.

После отбоя укладывались умиротворенно, без обычных споров.

... А ночью почти неслышно открылась дверь. Двоих разбудили прикосновением руки.

– Тихо, ни звука. Собирайтесь с вещами.

Поднялись. Взглянули друг на друга. За распахнутой дверью, по обе ее стороны, вооруженные солдаты в полушубках. Все...

На дворе мороз. Белая зима стонет под ногами. Зося с непокрытой головой, шапки нет, да теперь все равно.

Вывели за ворота. Мир сверкающих голубых алмазов. Ели в пушистом искрящемся инее протягивают на ладонях россыпи звезд. Все разубрано, наряжено густой синевой, в бриллиантах. Небо, земное небо! И откуда-то сверху льются звуки торжественного хорала, вселяют восторг, раскрепощают тело.

– Нас ведут, как тех... Потом повезут. Я рада, что мне пришлось с вами...

Плотно прижались друг к другу. Опять будто музыка.

Торжественность нарушило появление человека в белом полушубке. За ним чернеет грузовик.

– Кашкетин, – прошептала Зося, рука ее затрепетала.

Он отдал распоряжения и отошел. Двух женщин, с ними еще двоих мужчин бесприютно, на юру, усадили в один ряд в открытый кузов грузовика.

Подъехал другой, он остановился поодаль, что там делалось, разглядеть было невозможно. Под фонарем промелькнул зеленый бушлат.

Принесли, сложили за спинами чемоданы. Зося вся задергалась, шептала, шептала, со свистом втягивая в себя морозный воздух и захлебываясь им.

– Когда увозили с Кирпичного ... совсем так же... чемоданы тоже... сначала их... чемоданы сжигали на кострах... им велели вещи с себя на снег, рядом... Раина шубка, Раина – в крови...

– ... Ох, он опять сюда! От них к нам... – И в ужасе, с открытым ртом замолчала.

Кашкетин остановился у грузовика. Вокруг, от машины к машине, ходили какие-то люди и в военном, и одетые по-лагерному. Он подозвал парнишку в бушлате.

– Принеси побольше сена, мы еще порядком постоим, закрой хорошенько сеном вот эту.

Когда отошел, парень осмотрелся, решительно влез на колесо и боком ткнул на простоволосую голову Зоси свою шапку, потом опрометью побежал...

Приготовления закончены. По углам грузовика – солдаты с винтовками, штыками – на двух женщин, двоих мужчин. Провожавшие сбились в молчаливую кучу, растаявшую в темноте. Кашкетин влез в кабину шофера. Тронулись.

– Вон, в тот лесок держат, – Зося говорила прерывисто, будто рыдала. Ее била лихорадка, зубы стучали, ушанка так и торчала на одном ухе.

Лесок проехали мимо.

– Так куда же? – Расшвыряла закрывавшее двоих сено, сорвала-сбросила шапку, завопила:

– Ку-да, ведь здесь-то уж самый конец, а все тащат – под каким еще камнем защимят, придавят?...

Тянула истошный крик, с придыханьями, на одной хриплой ноте. В голосе ничего человеческого. Вой, смерть-тоска зверя.

Никто не шевельнулся.

Ни те, кого в последний раз поведут по земле, ни те, кто поведет, ни те, кто положит всему конец, – не могут сказать, не знают: з а ч т о и з а ч е м. Зосино безумие – единственный логический ответ.

Машина остановится, здесь, в краю потерявшихся и забытых. – Неизвестно доколе, четверо – две женщины, двое мужчин – для родных и близких будут числится в узниках

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ...

Москва, 1958

$ 7. 00



Мария Иоффе родилась в Нью Йорке, детство и юность провела в Санкт-Петербурге (Петрограде). Там окончила гимназию и поступила в Бехтеревский психо-неврологический институт. Одновременно работала в крупнейшем столичном издательстве М.О. Вольфа. В 1917 году сотрудничала в большевистской газете "Рабочий путь". Тогда же вступила в студенческую фракцию РСДРП (б). С октября 1917 года – секретарь Бюро печати Совнаркома. В 1918 году вышла замуж за А.А. Иоффе, председателя Брестской мирной делегации. В 1919 году родился сын. В 1927 году после трагической смерти мужа начала работать редактором в Государственном издательстве СССР. В 1929 году выступила на общем собрании редакторов и заведующих отделами с речью-протестом против высылки Троцкого. Вскоре была арестована – в ссылках, тюрьмах и лагерях провела с 1929 по 1957 год. После XXII съезда партии была частично реабилитирована и только тогда узнала о гибели в 1937 году сына. С марта 1975 года живет в Израиле.